

Татьяна Толстая

Легкие миры

В новой прозе Татьяна Толстая совершила революцию: перешла от третьего лица к первому. Сливаясь и расходясь с автором, рассказчица плетет круженные истории своей жизни, в том числе — про любовь, как Бунин.

Александр Генис

Татьяна Никитична Толстая

Легкие миры (сборник)

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7061997

Легкие миры / Татьяна Толстая: АСТ : Редакция Елены Шубиной;

Москва; 2014

ISBN 978-5-17-085088-4

Аннотация

В книгу Татьяны Толстой «Легкие миры» вошли новые повести, рассказы и эссе, написанные в последние годы. Повесть, давшая название сборнику, была удостоена Премии Ивана Петровича Белкина (2013).

«В новой прозе Татьяна Толстая совершила революцию: перешла от третьего лица к первому. Сливаясь и расходясь с автором, рассказчица плетет кружевные истории своей жизни, в том числе – про любовь, как Бунин». (Александр Генис)

Содержание

Легкие миры	5
На малом огне	5
Про отца	54
За проезд!	59
Вроде флирта	76
Дым и тень	80
Дальние земли	105
Конец ознакомительного фрагмента.	123

Татьяна Толстая

Легкие миры (сборник)

© Толстая Т.Н.

© Студия Артемия Лебедева, художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Легкие миры

На малом огне

У нас была большая семья: семеро детей, папа, мама, няня Груша, кухарка Марфа, и все мы жили в одной квартире – в Ленинграде, на набережной реки Карповки. Квартира была особенная, двухэтажная. Верхний этаж был одной огромной комнатой, разделенной мебелью на спальню, папин кабинет, черную комнату для печатания фотографий и гостиную с роялем, кроме того, там спали младшие дети. На нижнем этаже жили все остальные.

Я спала в детской, дальней комнате вместе с сестрой Шурой и няней Грушей, кухарка Марфа – в особой комнатке для прислуги, остальные – кто где. Одна из комнат считалась столовой, но и там всегда кто-то спал.

С точки зрения простого советского человека мы были зажавшиеся.

Вот интересно, кстати: дом был построен по проекту архитекторов Фомина и Левинсона в 1931–1935 годах для работников Ленсовета (тут-то их и начали сразу сажать, работников этих). И – пожалуйста, проектируется комната для прислуги. Только что, можно сказать, каких-то десять лет назад, коммунаки считали, что в доме кухонь вообще быть не долж-

но. Дом политкаторжан на Каменноостровском, с чудным видом на Неву, прямо на Летний сад, так и построен – без кухонь. Советский человек не опустится до такого мещанства, как стояние у плиты. Долой рабский труд, освободим женщину, да здравствуют фабрики-кухни, зразы свекольные, тефтели морковные, человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть.

Ну так это простой человек, ему есть не надо, а вот начальству очень даже надо, а поскольку он, начальник, день и ночь работает на благо народа, то ему полагается прислуга, встроенная, так сказать, прямо в кухонный процесс. Для прислуги – стыдливо именуемой «домашней работницей» – и спроектировали комнатку при кухне.

Говорили, что наша квартира предназначалась для самого товарища Кирова, но он не успел в нее въехать, так как 1 декабря 1934 года был, как известно, по приказу товарища Сталина убит – конкурентов надо убирать, поляну зачищать, – и тем же выстрелом был убит и второй заяц: в злодейском покушении были обвинены дворяне дробь интеллигенция, и тут же начались массовые высылки. Говорят, высылали прямо по справочнику «Весь Петроград» последнего дореволюционного выпуска; всех, кто что-то собой представлял, сразу же и выдворяли.

Дом был отличный; издали он был похож на развернутый плакат, опирающийся на две широкие тумбы, чуть сутулый, с впалой грудью, – от этого верхние углы его были

острыми, четкими, и в этом читалась некая лихость; весь второй этаж был обнесен стеклянной стеной, выходившей на балкон, опоясывающий здание, с пятидесятых годов там был детский сад, а уж как задумывали Фомин и Левинсон – не знаю. Может, им грезилась какая оранжерея, где умученная круглосуточными трудами исполнительная власть могла бы отдыхать под пальмами и араукариями. В одной ноге дома предполагалась прачечная, но, по слухам, она так и не заработала, а за всегда запертой дверью в тридцатые годы сидел чекист и следил в глазок: кто входит, кто выходит. Оттуда хорошо просматривался почти весь двор. Перед домом был изящный фонтан в виде черного квадрата, раза два за свою жизнь я видала, как он работал. На большее коммунальное хозяйство не замахивалось, надо было ловить врагов и расстреливать их. У дома были висячие наружные лестницы, длинные, леденящие попу каменные скамьи, особые, приподнятые над землей террасы, засеянные газоном и украшенные шиповником, цветник во дворе, множество высоких решеток с римским узором в виде перечеркнутого квадрата, какая-то асимметричная каменная веранда, ведущая к теннисному корту (тоже никогда не работавшему). На одной из террас стояла вообще никому не понятная вещь – каменный куб на ножках, и на одной его грани – барельеф плотного, без шеи футболиста, который вот сейчас ударит по мячу. Конструктивизм. У двух квартир – нашей и еще одной в соседнем подъезде – были вторые этажи, выходив-

шие на просторный солярий, обрамленный каменным желобом-ящиком для цветов.

Кирова застрелили, и прекрасная эта квартира досталась другому, сменив нескольких хозяев. В ней жил, в частности, артист Юрьев. На нашей лестнице, на втором этаже, также жила сестра Мейерхольда, и говорят, что, когда в ночь ареста Мейерхольд навестил Юрьева и спускался с пятого этажа к сестре, тут его и повязали.

Уж не знаю, почему Киров стремился переехать в эту квартиру. Наверно, новенькая, с иголки, двухэтажная, с видом на реку, она манила его. Но, по-моему, та, в которой он жил на Каменноостровском проспекте в доме Бенуа (там теперь его музей), ничуть не хуже. (В свое время она принадлежала какому-то адвокату, но ее экспроприировали.) В этот музей никто не ходит, а зря. Там чудные вещи. Там американский холодильник «Дженерал электрик», прототип нашего «Севера», но только до сих пор прекрасно работающий, необыкновенной красоты и функциональности, толстый такой, с закругленными углами, похожий на сугроб; там красный компактный томик Марксова «Капитала», подаренный Кирычу на днюху любящей супругой, которой он так охотно и обильно изменял; там на полу шкура белого медведя – кто его убил, не сообщают; там книга исполинских размеров: отчет работниц какой-то обувной фабрики, все ложь и очковтирательство, галоши они там будто какие-то... А сам-то Кирыч вечерами катался на финских коньках в финской

шапке – клеил баб, белье носил не пролетарское, а иностранное, добротное – все это в музее любовно выставлено, шкафы и кресла у него были не советские, а удобные и красивые, царского времени, и вообще, несмотря на фальшивые потуги работников музея (изумленного посетителем-одиночкой, коим была я) как-то воспеть беспардонного бабника и сибарита, каковым был дорвавшийся до сладкой жизни «мальчик из Уржума», – весь музей, каждый его экспонат вопиет о том, что надо не революцию делать, а строить буржуазное общество, и что уж Кирыч-то буржуазными утехами упивался вовсю.

Мы же в нашу карповскую квартиру переехали в 1951 году, папе она досталась как многодетному отцу, причем никто не ожидал такого щедрого подарка судьбы – семья наша жила до того в том же доме в маленькой квартирке, а за эту, большую, насмерть дрались какие-то два немаловажных начальничка. И, как это иногда случается, сработал принцип «не доставайся же ты никому» – в этот момент очень удачно родилась я, и исполком (или кто там этим ведал) воспользовался случаем и не стал создавать себе врага и выбирать из двух зол, а отдал жилплощадь многодетным, ведь дети у нас – это святое, и камень никто не бросит. По родительским рассказам, папа пришел в исполком просить об улучшении жилищных условий как раз в тот момент, когда председатель сидел, обхватив голову руками в ужасе от нерешаемой задачи: кому из двух важняков отдать квартиру. Услы-

шав папу, он крикнул: «Вас бог послал! Скорее бегите туда и вносите чемоданы!» Тогда существовало несколько дикое правило: кто первый занял жилплощадь, тому она и принадлежит.

Вот так мне, новорожденному младенцу, досталось то, что не досталось Сергею Миронычу Кострикову, партийный псевдоним Киров, а смельчаки-антисоветчики говорили, что фамилию эту надо читать задом наперед, и тогда получится Ворик.

И уже в начале двухтысячных, когда у меня была своя собственная квартира и я ходила по антикварным магазинам, приискивая, чем бы украсить еще пустое и гулкое жилье, мне на глаза попался и неизвестно чем приглянулся бюст Кирова. Вероятно, тем, что он стоил пятьдесят долларов, а его убийца Сталин, например, – триста. Ну-с, ворики нам милей, чем кровопийцы, а раз они еще и дешевле, то я купила белую безглазую голову Сергея Мироныча и отнесла его на Карповку, где пересиживала тяготы ремонта. И только войдя с ним в квартиру, я поняла, что это он попросился на ручки – попался на глаза, прикинулся малоценным, выбрал и время, и повод, и того единственного человека в многомиллионном городе – меня, – способного отнести его в то единственное место, которое его сейчас интересовало и которое он никогда не видел: обещанную, чаемую, новенькую лампампусечную квартирку – с чуланом, антресолями, солярием, комнатой для прислуги, окнами на реку и на закат.

И мне стало жалко Сергея Мироныча, рост метр пятьдесят с кепкой, и я понесла его по комнатам, показывая и рассказывая. Видишь, Сергей Мироныч? Это столовая, тут всегда сыро и никогда не бывает солнца. Потолок тут течет и обваливается с конца войны, ЖЭК уверяет, что трубы сгнили и ничего тут не поделаешь и что все чертежи потеряны, ты им веришь, правда? Зато тут балкон. И два встроенных шкафа с антресолями. В шкафу ящики с промасленными деталями от папиного мотоцикла, лежат с сорок восьмого года. Жанр – «очень хорошие, пусть лежат». На антресолях старые «Огоньки», пятидесятих годов, до которых ты не дожил. Там такая же дрянь, как и в тридцатые и сороковые, но более вегетарианская. Там в одном номере замечательные «пословицы русского народа», которые придумала у себя в кабинете какая-то коммунистическая сволочь вроде тебя, Сергей Мироныч. «Чан Кайши на Формозе – как блоха на морозе», «Лондон и Вашингтон дуют в один тон», «В Москве живет наш дед – Верховный Совет», «От ленинской науки крепнут разум и руки», «В колхоз пришел – кафтан нашел».

Как тебе? По сердцу русский фольклор? То-то. Пошли дальше. Это – чулан. Обои в нем лиловые в белую хризантемку, их так и не меняли, держатся с 1935 года. Там живет собака Ясса, боксер. Она ест овсянку, и ничего. А когда ее взяли щенком, она была приучена хозяйкой есть клубнику и взбитые сливки. Вроде тебя, Мироныч! Но ее живо отучили. Правда, ее лет сорок уже нет на свете. А для меня она

всегда тут.

Вот кухня. Тут есть замечательная вещь — холодный шкаф. Это такой пролом в толстой кирпичной стене, со стороны кухни он закрывается деревянными дверцами, а со стороны улицы стоит решетка. И там продукты хранятся свежими. Потому что в 1935 году ни у кого, кроме тебя, холодильников не было, пролетарий хренов. Понял? Пойдем дальше?

Так обошла я с ним всю квартиру, все ему показала и рассказала и отнесла в свое новое жилье. Он там стоит теперь на подзеркальнике большого буфета, на нем черные очки и женский кокошник в стиле «рюсс», чтобы помнил.

* * *

...лалы и смарагды. Лалы представлялись такими гладенькими, облизанными, а смарагды — душными, насморочными и в то же время игольчатыми, оскольчатыми, как битое бутылочное стекло. Еще были сапфиры — эти были непостижимо пышными, синими, как морская глубь, — можно подумать, что я видела морскую глубь, нет, конечно, не видела, жиденький Финский залив с белой детской водичкой морем не считался. Морская глубь должна была быть волнующей, темно-синей, мягко-бархатной и прозрачной, чтобы было видно, как на дне, на сундуке с лалами и смарагдами, сидит Садко. Морская глубь должна была располагаться в Индийском океане, более того, вода там и на поверхности

должна была быть такой же таинственной, как в глубине. Зачерпнешь ее эмалированным, за руп тридцать, ковшиком – а она цвета индиго.

Размером лалы воображались как красные виноградины, смарагды как черно-зеленая ежевика. Однажды в Эрмитаже мама показала мне драгоценную брошку императрицы Екатерины Второй – на мой глаз, ерундовую, с мелкими фитюлечными камушками. Разве ж это драгоценность? Я доверяла книжкам, где художники щедро, не скупясь, набивали сундуки толстыми брильянтами, от которых поленьями шли светлые сокровищные лучи, освещавшие всю избу. У детского воображения византийский размах.

К таинственным вещам, располагавшимся где-то в мире, за пределами нашей квартиры, но все же доступным внутреннему взору, относились также: море-океан – с кем вы, гости, торг ведете и куда теперь плывете; золото-серебро, мыслившееся узорными тарелками и малофункциональными супницами; яхонты – нечто вроде янтарных желудей.

Удивительные предметы можно было найти и прямо тут, в квартире: брат, например, владел железной коробкой с пятаками, и все взрослые, у которых в кармане образовывался пятак, должны были сдать его брату; среди этих пятаков попадались, как говорили, очень редкие – немислимо давнего года выпуска. Могущество брата вызывало уважение.

У сестры в коробочке, в ватке хранилось стеклянное яичко из авантюрина, словно бы набитое темно-мандариновыми

искрами.

Что уж говорить о маме! У нее было ожерелье-ошейник из тонкой серебряной, скрученной жгутом стружки и другое – в виде золотой шейной косынки на кнопке-застежке.

А у меня волшебностей не было, мне дарили книжки, лошадь-качалку, крепко пахнущую лаком, немецкий кукольный набор, в который входили два близнеца, няня, швабра и ночной горшок, – чудные штучки, но не волшебные; игра «Детский доктор», игра «Юный химик» – все не то. Вообще-то я остро хотела, чтобы у меня был раб, маленький дружелюбный человечек размером с карандаш, который жил бы у меня в кармане и выполнял мои поручения, а я бы кормила его маленькими бутербродиками. Мне говорили, что таких не бывает, но я уже знала, что взрослые привирают. И вообще они сторонятся мира морей, плывучих островов, говорящих птиц или заколдованных людей, а при этом сами же настойчиво дарят книжки, где про все это написано и нарисовано, – посреди Индийского синего океана индийской синей ночью вздувается стеклянная волна, и на этой волне, как на диване с подушками, разлеглась и колышется морская красавица: кокошник как у дамы трэф – бисер да хрусталь, – очи до висков, талия, индийские винтовые штаны, а пальцы перебирают струны вины, да-с, вины. Звездочка, примечание: вина – индийский струнный инструмент.

Каждый день спозаранку в морозном и сыром ленинградском мраке раздавался низкий, долгий рев: ы-ы-ы-ы-ы!

Сердце сжималось и скручивалось от этого звука. Что это, няня? Няня говорила, что это заводской гудок, что он созывает людей на работу, будит тех, у кого нет будильника, – чтоб поживее пошевеливались, вылезали из теплых кроваток и брели по сугробам, сквозь железный мрак в тусклые цеха, где крутятся и лязгают станки, где стены покрашены зеленой краской, а окна загорожены черными решетками, не убежишь... Надо людям вставать, а что поделаешь, золотко, надо работать, помилуй, Господи, нас грешных! Тяжкий нянин вздох, тоскливый заводской вой – я твердо решила, что ни за что, ни за что не буду рабочим, не буду вставать и идти во тьму, брести в черной толпе, волочить низкие тележки на громыхающих колесиках. Не буду, и все. Не хочу!

В жизни и без того предстояло немало неприятных событий и тяжелых испытаний. Скажем, если упадешь в колодец и птица Симург возьмется вынести тебя на поверхность – а это три дня пути, – надо запастись баранину, чтобы кидать этой птице в пасть каждый раз, что она оборачивается. И когда баранина кончится, придется отрезать и скормить ей кусок собственного бедра, не то птица ослабеет и упадет. Ужас! Я готовила себя к этому сценарию, но дух мой был слаб, и я тихо боялась.

Еще одна вычитанная мной трудность – как отобрать мак от проса, притом что на помощь дружественных муравьев я рассчитывать не могла, потому что не любила их и часто давила сандаликами. Мак был в булочке и набивался в зубы.

А просо клевали глупые и неговорящие волнистые попугайчики, голубой и зеленый, жившие у наших знакомых. Хозяин попугайчиков, Игорь Андреевич, сделал на банке надпись:

Просо здесь. Крупа такая.
Лучший корм для попугая.

Если я дотрагивалась пальцем до прутьев клетки, Игорь Андреевич резко кричал: «Не трогай птицу!» Я боялась его. Я понимала, что их он любит, а меня нет. Просо насыпалось в розовую целлулоидную ванночку и всегда было закакано – и голубой попугай какал, и зеленый не отставал. И вот это-то просо надо было отделить от мака.

Также предстояло идти на дуэль. Почему-то я знала, что мне в будущем надо будет быть писателем. Я не хотела, не знала как, внутренне уклонялась и вообще. Но как будто кто-то велел. А писателей вызывают на дуэль и застреливают. Папа возил нас – для подтверждения – на место дуэли Пушкина, где стоит скромный и печальный обелиск. (Раньше там колыхались лирические лиственницы, теперь, конечно, склады стройматериалов, продажа ламината, бензоколонка и прочая обычная мерзость.) Я уважала и печалилась. Я спрашивала взрослых: «А если на дуэль вызывают, обязательно надо идти?» «Обязательно», – с удовольствием отвечали взрослые, не догадываясь, что я вопрошаю о своей

роковой кончине. «А если человек не хочет?» – «Ну мало ли что не хочет, это вопрос чести».

Мои родители знали по три иностранных языка, причем мама – с детства, потому что так было принято и так ее учили; отец ее, а мой дед, поэт-переводчик Михаил Лозинский, знал шесть языков, среди них – персидский, что в моих глазах делало его небожителем: ведь он практически имел волшебный доступ в мир, где тихо сияли лалы и смарагды и из глубоких колодцев нижнего мира, мощно и медленно махая крылами, подымалась обожравшаяся люля-кебабом птица Симург.

Папа же до восемнадцати лет языков не знал, так как его родители, говорил он, все время повторяли: человек должен знать языки, человек должен знать языки, – но ничего для этого не предпринимали. Литературно-богемная обстановка, в которой папа вырос, возымела на него ожидаемое воздействие: он не захотел для себя шумных застолий с пьяными актерами, возненавидел цыганское пение и ушел в иные сферы, а именно поступил на физфак, где и встретил маму, оказавшуюся там по чистому легкомыслию. Дело в том, что ей нравился какой-то учитель физкультуры, который преподавал свой предмет не только в маминой школе, но и в университете, вот она туда и поступила. Боюсь, что факультет мама выбрала ошибочно, по созвучию с физкультурой, так как к изучению физики она была решительно не готова, боялась лампочек, а про электрические шну-

ры и говорить не приходится. Так она и проучилась до конца, ничего не поняв и не запомнив, как она сама со смехом рассказывала, зато там она встретила папу и полюбила его, в отличие от шнуров и розеток, на всю жизнь. На шестьдесят следующих лет.

«А клемм ты тоже боялась?» – с любовью спрашивал ее уже старый папа.

Своим учителем в жизни папа считал Михаила Александровича Бонч-Бруевича, гения инженерной мысли. Папа говорил нам, что человеку редко удается на своем веку встретить гения: талантов много, но гений – это нечто совсем иное. Михаил Александрович имел устройство головы, схожее, наверно, с тем безвестным бритоголовым инженером, жившим пять тысяч лет назад, что придумал египетские пирамиды со всей их сложной начинкой и внутренней конфигурацией. У пирамид, как известно, нет ни эволюционных предшественников, ни чертежей, они сразу явились безымянному гению и предстали во всей своей полноте его внутреннему взору – такой виртуальный прозрачный трехмерный чертеж с уже осуществленными расчетами; гарантия прочности – навек.

Михаил Александрович обладал этой же способностью: изобретать работающие, эргономичные приборы прямо в голове. Когда они представляли ему в его воображении во всех деталях и подробностях, он наносил готовые чертежи на бумагу и шел в патентное бюро. Там их отрывали с руками,

они были уникальны. Михаил Александрович не очень любил изобретать мелочовку, это было слишком просто, он обдумывал какие-то более фундаментальные вещи. Но есть-то надо было, и его жена Шушечка периодически напоминала: «Миша, опять пора за квартиру платить. Изобрети что-нибудь». Тогда Бонч запирался на ночь в своем кабинете, с чаем и папиросами, и к утру выходил с готовым проектом, каковой и продавал в бюро патентов, и тогда можно было купить мясо, и коренья для супа, и велосипед, и хороший костюм в полосочку. Помимо этого, у него была куча идей, которые ему и продавать-то было лень, – так, мелочь булочная. Мозг его работал как целый институт.

Папа дружил с сыном Бонча, Алексеем, часто бывал в их квартире и, соответственно, обедал с ними. Однажды за столом, когда ели суп, он рассказал, что вот, сегодня в газете прочитал про конкурс: требуется в трехмесячный, что ли, срок представить проект какого-то хитрого, водоизмерительного, что ли, доселе не изобретенного прибора. Вот как бы вы подошли к этому решению, Михаил Александрович? – спросил молодой папа. «Дальше, – рассказывал он, – произошло то, что я никогда не забуду: я увидел работу мысли со стороны. Бонч в этот миг зачерпывал суп, куриный бульон, как помню, с рисом. Он застыл, как бы окаменел; ложка его, наполовину поднесенная ко рту, замерла на полпути; рот, приоткрытый для этого супа, так и остался приоткрытым и обмяк; глаза выпучились, и взгляд словно бы ис-

чез из них, обратившись куда-то внутрь, мышцы лица расслабились и обвисли, и лицо, такое умное и энергичное, стало словно бы маской идиота. Все, что составляет внешнее выражение лица, исчезло, ушло внутрь, в мысль. Я смотрел как замороженный... Бонч не шевелился. Так прошло минуты полторы. Потом он ожил, лицо его вернулось на место, взгляд включился, он донес остывшую ложку до рта и сказал: записывай. И я на салфетке записал схему, которую он мне продиктовал, и это была самая простая, эффективная, экономная и остроумная схема из всех, которые я потом видел. Но он не стал ни патентовать ее, ни в конкурсе участвовать. Для него это была мелочь, семечки».

А в 1934 году папа был молодой, языков не знал, а мама знала, и на ней было синее платье и красные бусы. Она шла по длинному, бесконечно длинному коридору главного здания университета, и солнце било во все его бесчисленные окна и слепило глаза. Неизвестно, что бы из этого вышло, но тут товарищ Сталин убил товарища Кирова руками товарища Николаева, и дворян, как направивших злодейскую руку врага, стали высылать. Мамину семью тоже. Лозинские уже имели небольшой опыт отсидки: бабушка Татьяна Борисовна в начале двадцатых просидела в тюрьме два месяца, дед Михаил Леонидович «присаживался» дважды. Один раз ему вменили то, что он был сопредседателем Цеха поэтов – что за организация? Должно быть, контрреволюционная. «На чьей стороне вы будете, когда нападёт враг?» – до-

знавался чекист. «Надеюсь, что на Петроградской», – отвечал дед. Тогда такие шутки еще проходили, за легкие каламбуры зубов не выбивали. Но 1934 год был не чета двадцатым, да и анамнез у Лозинских был нехороший: у бабушки в 1929 году на рavelине Петропавловской крепости был расстрелян брат Саша, у деда мать и брат Гриша бежали за границу: камыши, лодка, надежный проводник, укравший оба чемодана со всем, что в них было. (Золотые часы, на которые думали прожить первое время. У кого-то они и сейчас тикают. Что сделается за восемьдесят лет с хорошими золотыми часами?) Маминым крестным отцом был поэт Гумилев, вот тоже, кстати, расстрелянный; контра, и в Африку ездил, и, если посмотреть сквозь правильные классовые очки, фактически направивший, а хоть бы и из могилы, руку товарища Николаева.

Лозинские собирали чемоданы, вязали узлы, а папе пришлось в голову вот что. Если он женится на маме, то она станет членом другой семьи, и тогда ее не вышлют, и она сможет доучиться и постигнуть тайны электромагнитного излучения. Так он и сделал. Ему было семнадцать. Они зарегистрировались в загсе, пожали друг другу руки и разошлись, маме нужно было домой, она была девушка из порядочной семьи, и ей даже помадой не разрешали пользоваться, потому что это легкомысленно и совершенно не нужно.

Толстые были вполне себе богатые, а Лозинские – не очень-то. Бедными они не были – бабушка работала му-

зейным экскурсоводом, дед много переводил, – но заработанные деньги бабушка отсылала обездоленным, сосланным, осиротевшим, овдовевшим, лишенным прав. Она посылала либо небольшие суммы денег, либо продуктовые посылки – туда, где и на деньги ничего купить было нельзя. Копченую колбасу, этот вечный советский жезл надежды. Сгущенку. Крупу-муку.

Когда Ленин умирал,
Сталину наказывал:
Хлеба людям не давай,
Мяса – не показывай.

Так припевал народ, а бабушка любила народ и служила ему чем могла – нестяжательством, милосердием, жертвенностью. Дочь крещеного одесского еврея Бориса Шапи-ро, ставшего прозрачным Борисом Михайловичем Шапиро-вым (и, конечно, проклятого за это всеми своими родственниками), врача, дослужившегося до высокого генеральского чина и получившего личное дворянство, бабушка была христианнейшей из христиан и самаритянской из самаритян. Литературные вкусы у нее – на мой взгляд – были неправильные: она обожала Некрасова и Чернышевского, одного – за озвученный им вой и стон русского народа, другого – за романтическую веру в то, что можно все поделить поровну и жить дружно, притом что человеку так мало нужно, одного зонтика на семерых вполне достаточно. (Осо-

бенно в нашем вечно солнечном Петербурге с его знойной осенью и буйно цветущей весной.) Она считала, что человек ничем не должен владеть, у него не должно быть никакого имущества. Когда после революции их семейная дача в Райволе оказалась на финской территории и появилась возможность ее продать, бабушка отказалась от своей доли в пользу брата Александра. Александр был сибаритом, тратил валюту в Торгсине, любил поесть. Потрясенная бабушка говорила: «Саша ест сливочное масло!»

Нельзя было есть сливочное масло, пока народ стонал и перераспределял зонтики; чекисты тоже так считали, поэтому, когда Александр спустил всю валюту, его просто расстреляли: взять с него было уже нечего.

Деду Михаилу Леонидовичу, как я понимаю, не очень были симпатичны идеи обмеления житниц и равенства в нищете, но он не мог, или не хотел, или не решался – кто теперь скажет? – остановить руку дающую. Свою благотворительность бабушка никак не афишировала. Только после ее смерти мама узнала об истинном масштабе этого сокрушительного самопожертвования.

Тридцати шести семьям помогала бабушка на протяжении трех десятилетий. Еще раз: тридцати шести. Там, где нельзя было урезать у своей семьи без ущерба для существования, она урезала у себя. Кажется, всю жизнь она проходила в одном и том же скучном синем платье; когда платье ветшало, оно заменялось таким же. Нет, не всю жизнь. До рево-

люции она носила красивые, модные вещи – черный бархат, прозрачные рукава с вышивкой, черепаховые гребни, – я же сама находила их, раскапывая сундуки в чулане. Что случилось с ней, когда это случилось, почему случилось, как она стала святой – я уже никогда не узнаю.

После бабушкиной смерти маме стали приходить робкие письма из далеких ссылок, из-за Полярного круга. Вот Татьяна Борисовна посылала нам ежемесячно столько-то рублей, мы выживали. Дочь без ног, работы нет, муж погиб. Что нам делать? И мама – семеро детей, няня Груша, кухарка Марфа, Софья Исааковна – музыка, Маляка – гуляние, Елизавета Соломоновна – французский, Галина Валерьяновна – английский, это для каждого, плюс Цецилия Альбертовна – математика для тупых (это я, привет!), собака Ясса – гав-гав, два раза в неделю табунок папиных аспирантов – суп, второе, – мама спокойно и стойко взяла еще и этот крест на себя, и понесла, и продолжила выплаты и посылки, никому не сказав, никому не пожаловавшись, все такая же спокойная, приветливая и загадочная, какой мы ее знали.

И я никогда бы ни о чем этом не узнала, если бы кто-то из несчастных, уже в семидесятые годы, не добрался до Москвы и не оказался в свойстве с ближайшей маминной подругой, а та приступила к маме с расспросами и все выведала и рассказала мне – под большим секретом, потрясенная, как и все всегда были потрясены, маминной таинственной солнечной личностью.

Раз уж я забежала вперед, то я скажу, что еще у нас – чтобы довершить картину нашей зажравшести – была машина «Волга» и дача с верандами и цветными стеклами; весь табор летом перемещался на дачу, и хотя учительницы музыки и языков с нами не ездили, зато у нас проживала хромая тетя Леля, сама знавшая три языка, лысая старуха Клавдия Алексеевна, выводившая на прогулку малышей, и семья папиного аспиранта Толи – жена и двое детишек, потому что им нужен был свежий воздух и почему бы им у нас не пожить. Так что за стол меньше пятнадцати человек не садилось, и маму я всегда вижу стоящую у плиты, или волочащую на пару с Марфой котел с прокипяченным в нем бельем, или пропалывающую грядки с пионами, лилиями и клубникой, или штопающую, или вяжущую носки, и лицо ее – лик Мадонны, а руки ее, пальцы – искривлены тяжелой работой, ногти сбиты и костяшки распухли, и она стесняется своих рук. И никогда, никогда она не достает из комода и не надевает ни серебряного ожерелья, ни золотой шейной косынки. Но и нам их поносить не разрешает.

* * *

Фиктивный брак вскорости перерос в настоящий, в марте даже сыграли свадьбу, и новых родственников Алексея Толстого, уже почти пропавших в пермской, или уфимской, или саратовской, или оренбургской, или томской глуши,

с неудовольствием оставили в покое (за них ходатайствовал Горький). Кстати, чекисты разгадали папин план (ну, стукачей-то вокруг всегда хватало). Недавно издали дневник Любови Васильевны Шапориной, театральной художницы, матери папиного приятеля Васи. Она пишет, что Вася собрался жениться на своей подруге Наташе и местный (детскосельский) чекист кричал, что ишь, манеру взяли: на высылаемых жениться! Думают, раз Никита Толстой это проделал, так и им можно! Вася все-таки женился.

У мамы с папой родилось семеро детей, вернее, родилось-то восемь: у брата Миши был близнец Алеша. Это был 1940 год, оба были маленькими, слабыми, лекарств в России не было. Какие там лекарства, с едой было плохо – ну, для богатых еда была, с очередями была, если, например, послать домработницу с вечера в очередь (в «хвост», как тогда говорили), то к утру, к открытию лавки, можно было достать керосину...

Дети стали худеть, умирать, Мишу в последний момент спасло какое-то лекарство, привезенное Алексеем Толстым из-за границы, – кажется, синтомицин, редкость по тем временам, ведь еще и пенициллин не был изобретен. Он уже был таким прозрачным, что однажды провалился в щель между кроватью и стеной, как карандаш. Алешу спасти не удалось: у него оказалось врожденное сужение пищевода, то, что можно было исправить десятиминутной операцией, но идиоты врачи лечили его от чего-то другого. Мальчик умер про-

сто от голода. Ему было полтора месяца.

Бабушка Наталья Васильевна Крандиевская посвятила ему стихи.

Упадут перегородочки,
Свет забрезжится впотьмах,
Уплывет он в узкой лодочке
С медным крестиком в руках.
Будет все как полагается:
Там, на холмике сыром,
Может, кто-то разрыдается,
Кто-то вспомнит о былом.
И уедут все трамваями
В мир привычной суеты...
Так ушедших забываем мы.
Так его забудешь ты?

Я всегда воспринимала это «ты» как тыкнутое прямо в меня, хотя в тот момент до моего рождения оставалось больше десяти лет. Но с детства знала эти бабушкины стихи и говорила себе: а я не забуду.

Но я не знаю, где этот холмик.

* * *

В 1985 году, 10 марта, у родителей была золотая свадьба. Мы со старшей сестрой, Катей, решили сочинить и поста-

вить пьесу про это. Так и сделали. Среди нас, семерых детей, легко нашлись четверо, внешне похожие на пару родителей Толстых и пару родителей Лозинских. Музыку написали сын сестры Наташи Коля Ивановский (ему было девять лет) и Кэтин сын Саша Прохоров (ему было пятнадцать). В питерском Доме писателей (в том, который в девяностые сожгли) был банкет, а перед банкетом мы сыграли пьесу для сотни приглашенных. Вот я сейчас приведу текст этой пьесы так, как он был нами написан. Особо доверчивых предупреждаю, что разыгрываемые события – вымышлены, исторически недостоверны и являются плодом нашей фантазии.

Накануне, или Свои люди – сочтемся

Действующие лица и исполнители:

Наталья Васильевна Крандиевская –
Ольга Толстая

Татьяна Борисовна Шапирова –
Александра Толстая

Михаил Леонидович Лозинский –
Михаил Толстой

Алексей Николаевич Толстой –

Иван Толстой

Сцена первая

Детское Село. 1935 год. Алексей Николаевич, обвязав голову полотенцем, печатает на машинке. Входит Наталья Васильевна.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Прерви свой труд, дружок, на мгновенье:
Волнующее сообщение.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (*рассеянно*)

Царь Петр... Пятая картина...
Князь Меншиков стреляет в Буратино...

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Наш сын, ты знаешь, старший наш, Никита...

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Хаджет Лаше... Отменный волокита...

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Решил жениться! Сделал предложение!!!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все члены приведя свои в движение...

Минхерц Лефорт...

влезает в спальню к Софье...

Дружок, подай еще кофейник кофе!

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Кому б ты думал? Можешь догадаться?

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отрывок этот должен мне удался!

А если так?.. Мальвина с Артемоном

Ведут борьбу за власть над русским тронем,

А в это время страшный Карабас...

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Наш сын!!! Ни-ки-та!!! Женится! Сейчас!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (*осознав*)

Как женится?.. Скандал на весь Пасси!

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Да мы в России, Господи спаси!!!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ну да?! С каких же пор?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Второй десяток лет.

Вчера с Качаловым вы пили или нет?

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Да, верно, встретились...

Там был какой-то Джим...

Домой едва вернулся недвижим,

И вот теперь отказывают ноги...

А кстати, запасла ли ты миноги?

Эх, хороша с горчицею змея!..

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Нам угрожает новая семья!

Наш сын – студент, а девочка раздета!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Уже?... А кто она?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Дочь крупного поэта!

Пока в скитаниях твоих болталась лира,

Плодились тут Лозинские с Шапиро!

Пока ты путался в волосьях Карабаса,

Вскормили тут невесту экстра-класса!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

В голодном Петрограде?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Да, не спорь!

Она живет на рю дю Красных Зорь.

Такую редко встретишь красоту...

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Боку д'аржан?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Дружочек, па дю ту!

Сцена вторая

Улица Красных Зорь. 1935 год.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Земную жизнь пройдя до половины,
На сердце ныне тяжкий груз держу.
Родная дочь сказала так невинно:
«Отец, прости. Я замуж выхожу».
О, как родителю стареющему страшен
И терн венца, и траты брачных брашен!

Младым радеть о продолженьи рода.
Пускай цветут. Меня же, старика,
Всею одарила мудрая природа,
За исключением брюк и пиджака.
И вот сижу, раздет и неукрашен,
А долг издательству доселе не погашен.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Нет позора прослыть небогатыми:
В исторически трудный момент
Не костюмами и не халатами
Украшается интеллигент.
Стыдно хвастать одеждами модными:
Подтянувши потуже живот,

Топчет землю ступнями холодными
Терпеливый наш русский народ.

Топчет он по полям, по дорогам,
Топчет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи...

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Ах, Танюша, оставь, ради бога,
Как натопчет народ у порога,
Ты сама же велишь подмести!

Но жребий брошен. Новое семейство
К себе призвало в гости, чтобы там
Рядить в парчу чинимое злодейство,
Курить крикливой фальши фимиами.
Страшусь в предвиденьи, что буду ошарашен
Трескучим фарсом шантажей и шашен.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Отказавшись от счастья личного,
По острогам раздав башмаки,
Не найду я ботинка приличного,
А твои для меня велики.
Но, во славу толстовской традиции,
Слившись всею душой с мужиком,
Я, отбросив пустые амбиции,

На смотрины пойду босиком.

Как народ – по полям, по дорогам,
Как народ – под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи...

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Ах, Танюша, оставь, ради бога,
Посмотри – талый снег у порога,
Надевай что ни есть, не глупи.
Наш путь далек. Во тьме снегов лицейских
Мерцает нам зловещий огонек.
И ждущим нас мучителен намек,
Что жаждем мы пиров эпикурейских.
Чтоб там не выдать аппетиты наши,
Червя заморим чашей простокваши.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Всё расхищено, предано, продано,
Простокваша – у вдов и сирот.
Разве можно обидеть голодного?
Воет с голоду русский народ.
Воет он по полям, по дорогам,
Воет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи...

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Ах, Танюша, оставь, ради бога,
Нам самим два шага до острога,
Дай мне посох. Идем. И терпи.

Сцена третья

Детское Село.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Зачем богемский ставишь ты хрусталь?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мой друг, посуда – важная деталь.
С каким лицом гостей встречали мы бы,
Когда б не наши вилочки для рыбы?
Ты помнишь случай у мадам Гучковой?
Мы собрались. Хрусталь блестит в столовой.
Все ждут Керенского. Он входит наконец.
Вдруг, видим... нет салфеточных колец!
Прислуга – в обморок, хозяин – пулю в лоб,
Где стол был яств – теперь дубовый гроб,
Хозяйка – в монастырь, а дети – по приютам...
Вот как пренебрегать домашним-то уютом!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

А помнишь, Маяковский ел ногами?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Ну, то был русский вечер с пирогами.
Кисель, овес, чуть-чуть клопов в буфете...
Мы принимали футуриста Маринетти.
В то время были все убеждены,
Что истинный мужик сморкается в блины.
Есенин объяснил, что это враки –
Простой народ в цилиндре ходит и во фраке.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Какое вкусное *repas!*
А где вино? Же не вуа па!

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Вон там, в шкафу, недалеко
Стоит бутылочка «Клико».

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Твои Лозинские, боюс-с,
Предпочитают водку рюсс.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Un rei икры, *un rei* маслинки,
Тут ананасов две корзинки,
Сюда балык и холодец...

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Пойдет под водочку, подлец!

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Пожалуй, вот и всё для пира...
Да где ж Лозинские с Шапиро?

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Идут! Босые...

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Задержи!
Ну где фруктовые ножи?!

М.Л. и Т.Б. входят.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мадам, бонжур, месье, бонжур,

Я просто слов не нахожу!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Бонжур, месье, бонжур, мадам,
Позвольте, тапочки подам!

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Одеты мы не по погоде...

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Решили ближе быть к природе...

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Комм хорошо! Приятно комм!
Мы тоже будем босиком!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Напомни, Туся, чтоб с утра
Я эту сцену внес в «Петра».

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Прошу садиться, господа,

Вот вы – сюда... а я – сюда...
Алеша, стул пододвигай!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Что там сгорело?
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Расстегай!!!

Н.В. выбегает и возвращается.
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

С чего начнем? Телячий бок,
Жюльен, солененький грибок,
Вот устрицы. Прошу вас кушать.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Мне хлеба корочку, посуше.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Бокал «Клико»?

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Сырую воду.
Что вредно русскому народу,

То вредно мне.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Народ любя,
Я в жертву принесу себя.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Когда так жертвовать легко,
Тогда и мне бокал «Клико».

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Прошу... Прошу... И вам – прошу...
Минутку! Сцену запишу.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Скрывать не будем: свел нас вместе
Наш общий интерес к невесте.
Не откажите нам помочь
И опишите вашу дочь.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

«Прекрасной дочерью своей
Гордился старый Кочубей,

Сошедший с плахи в ров могильный.
Будь он свидетель наших дней,
Он умер бы еще страшней –
От корчей зависти бессильной».

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Сэ мервеййё, сэ трэ жоли!
Как быстро рифмы вы нашли!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ох, эти рифмы, эти рифмы,
Когда избавимся от них мы?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мы не смогли бы вам в стихе
Так рассказать о женихе.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Скажите в прозе, я привык.
Какой изучен им язык?

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Какой язык? С хренком, с горошком,

Чтоб было каперсов немножко,
С изюмом, в тесте, заливной,
Телячий, птичий и свиной.
Что ж, мы поесть не дураки –
Нам все знакомы языки!
А вы предпочитаете какой?

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

К обеду, в общем, Дантов неплохой,
С утра – покрепче – Вега, Лопе де,
А к вечеру – персидский на воде.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ты слышишь, Туся? Это, брат, гурман!
В чужой за словом не пойдет карман!
Ответ-то прост, да мысль зело хитра.
Как жаль, что не внести ее в «Петра».

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Шарман, шарман! Сэ трэ жоли!
И много вы перевели?

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Он переводит день и ночь –
В итоге проворонил дочь.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Скажу вам, милая кума, –
Есть от чего сойти с ума.
Наш сын Никуся дорог нам,
Но возмутительно упрям.
Ему дал Бог быть дипломатом,
А он на нас не то чтоб матом,
Но сильно сердится, крича,
И пропадает у Бонча.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Кто этот Бонч и чем он славен?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Он в физике Эйнштейну равен,
Умен, красив, как древний грек.
О, Бонч чудесный человек!
Я породниться с ним бы рада,
Да вот беда – тут дочку надо!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Никуся пусть родит девчонку –
Жену бончовскому внучонку.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Хватили! Через сорок лет!
Не доживем...

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Боюсь, что нет...

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ну что об этом говорить...
Еще бутылочку открыть?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Давай! А эту охладим.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Ребята! Хорошо сидим!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

За что мы пьем?

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

За молодых!
Дожить им до волос седых,
Добраться до высот в науке,
Объездить мир...

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

А если внуки?

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Зачем же дети? В наше время
Иметь детей – большое бремя.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Хлопот с ребенком полон рот:
Когда не спит, то он орет.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Утащит нужные бумаги,
Чтобы чертить на них зигзаги.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Он на обоях не спеша
Освоит смысл карандаша.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Прости-прощай обои наши!
А вымазанный в манной каше
Проворный липкий кулачок?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Прошу, возьмите балычок.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

А вот печальная картина:
Болезни – корь и скарлатина.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

А Дантов «Ад», разъятый в клочья?

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

А детский крик и днем и ночью?

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

А ставить клизму малышу?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Икорки, очень вас прошу!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Потом ученье, тупость, слезы...

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Гамашы, снятые в морозы...

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

А драки, шишки, синяки?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Лягушки, черви, пауки?

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Вот это описание сочно.

В «Петра» я это вставляю точно.

Но не хватает грабежей

Для сцен стрелецких мятежей.

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Уверен я – придет и это.
Еще нельзя ли винегрета?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

А есть ли больше наказание,
Чем половое созревание?
Женитьбы, ссоры и измены,
Дележ вещей, квартир обмены,
Разъезд, развод и новый брак.

ВСЕ ВМЕСТЕ:

Нет, дети – это полный мрак!!!

Гаснет свет.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

В чем дело?

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Погасили свет.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Погаснет жизнь, когда потомства нет.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Нет, нет, постойте, я так не хочу!

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Тогда зажгите первую свечу...

Дети выходят один за другим, со свечой в руках.

1-Я СВЕЧА. КАТЯ

Пусть первый огонек, во тьме зажженный,
Горячим пламенем рассеет мрак бездонный,
И, освещая цепь грядущих дней,
Дает начало череде огней.

2-Я СВЕЧА. МИША

Из тьмы родясь, ярка и горяча,
Пусть за двоих горит моя свеча.

3-Я СВЕЧА. НАТАША

Дул черный вихрь, сметая всё и вся,
Но третий свет из мрака занялся.

4-Я СВЕЧА. ТАНЯ

Подходит время моего огня.
Теперь свечу зажгите для меня.

5-Я СВЕЧА. ШУРА

И я вослед из мрака к вам лечу –
Теперь зажгите и мою свечу.

6-Я СВЕЧА. ОЛЯ

Быть может, я смогу вам пригодиться –
Позвольте и моей свече родиться.

7-Я СВЕЧА. ВАНЯ

За братом брат и за сестрой сестра
Зажгли огонь от одного костра.
Свеча седьмая завершает круг.

ВНУКИ (*выходят со своими свечами*)

Но сколько их зажжет за внуком внук!

Пауза. Свечи горят.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Постойте, постоит: как странно...
Мне видится, будто во сне,
И свадьба, и зал ресторана
В какой-то далекой весне...

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

И кто-то витает незримо,
Прорвавшись из мрака и тьмы,
Из тучи, из облака дыма...
И кажется мне – это мы...

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

И свет озаряет потемки –
Я знаю, что в свадебный час
Далекие наши потомки
Из прошлого вызвали нас.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Мы в плоти и памяти вашей –
Горячей, греховной, святой.

ВСЕ ВМЕСТЕ:

Живите, Никита с Наташей,
Цветите, любимые наши,

Поднимем заздравные чаши
За ваш юбилей золотой!

Да, мы с Катькой это всё придумали и разыграли, и – да, Дом писателей сгорел, подожженный питерскими бандитами, делившими имущество и площади. Сожгли начисто – со всей библиотекой, со всеми интерьерами, с голубыми гостиными и белыми залами, с гардеробом и рестораном, с буфетом, где члену Союза писателей, а то и несоюзному завсегдатаю можно было заказать котлету «Творческая» и, набравшись коньячку, так уютно ужраться в хлам, а потом, на заносимой снегом набережной, нетвердой рукой, промахиваясь, ловить ручку двери терпеливого такси: «Шеф!.. До Гражданки!..» – да, ничего этого больше нет, а с другой стороны посмотреть – глаза скосить в сторону – никуда и ничего не пропало, всё тут, и дом, и зал, в котором мы их всех воскресили, и воссоединили, и помянули, и омолодили, и вывернули время наизнанку, чтобы прошлое стало настоящим, а настоящее показалось далеким будущим. На малом огне, на огне памяти ничего не сгорает, не полыхает, не гибнет, не пропадает навсегда.

Про отца

Отец взял манеру приходить в заячьей ушанке, в черном драповом пальто, под верхней пуговицей угадывается драпный и колючий шарф в красную клетку. А может быть, и нет никакого шарфа. Тогда, значит, шелковая, еще довоенная рубаша, голубая в белую полоску. Они тогда так забавно шили: сзади, там, где лопатки, большая складка, для простора в размахе рук. Рубашка на спине надувалась парусом, и на стройность наплевать.

Я эту рубашку недавно нашла; разбирала старые чемоданы, еще из тех, что тяжелые сами по себе, без вещей, и по углам у них кожаные накладки. Там были прекрасные вещи, просто прекрасные: там были брюки из чудесного твида, явно заграничного происхождения, с широкими обшлагами. Цвет в целом словно бы сероватый, но твид такая вещь: если всматриваться близко, если поднести к глазам, то видишь и серый, и зеленую нитку, и красную крапку, и еще песочное что-то мелькнет, и скрип уключины, и маслянистый блеск тяжелой воды в Темзе, и жидкий, пляшущий отблеск фонаря на волне, и звук плеска, и сырой воздух, и шелковая плесень на бревнах.

Брюки кусачей шерсти, легкий томительный запах нафталинового шарика. Сейчас бы мошь не посмотрела на эти глупости, съела бы брюки и шариком закусил; наглая по-

шла моль, напористая, и глаза у нее жесткие и внимательные. А в те годы, когда брюки закладывались в чемодан, а чемодан запихивался на антресоль, проживала другая моль, белая, основательная, со старинными манерами, с самоуважением, я полагаю, с тревогой о здоровье потомства: туда не ходите, там нафталин!.. Пойдемте в другой чемодан!

Брюки, стало быть; потом кальсоны, – уморительная вещь! На завязочках, на тесемочках! Спереди – еще и три пуговицы – честное слово – костяные, потрескавшиеся, обломанные. Детский пиджачок, плохо сшитый, с хлястиком на спине, тоже из твида, попроще. Чья-то красная шерстяная юбка-восьмиклинка. И рубашки, одна голубая в полоску, другая кофейная в полоску же.

Я полюбила голубую, хотя кофейная была ничуть не хуже. Но я полюбила голубую, небесную, вот поэтому, наверно, он в ней приходит. Но точно я все равно не знаю, я ни разу ее не видела: он не снимает пальто. А пальто он приноровился надевать драповое, с грубым ворсом, такое, какое он носил перед смертью, и заячья ушанка тоже из его последних лет.

Ему, наверно, лет тридцать пять, в сумерках сна не разглядеть возраста, но эта послевоенная худоба и общая ободранность, эта небрежность и беспечность, или, как он сам сказал бы, ноншалантность, эти очки в круглой оправе, очки, – первое, наверно, что я увидела на его любопытствующем лице, когда меня принесли из роддома, увидела и полюбила навсегда – вроде бы это признак того, что ему тридцать

пять. Он младше моих детей.

Они-то знали его уже старым, с вечно больной поясницей, с обвисшей кожей лица и остатками седых волос, — как он это в себе ненавидел! Вглядывался в зеркало, побрившись и пригладив мокрой щеткой волосы, с досадой махал рукой. а!.. смотреть противно!.. и шел себе, царь царей, большой такой и тяжелый, пить кофе, а потом — на улицу, может, в университет читать лекцию, может, просто пройтись, в ужасной заячьей шапке, но с тростью.

Они знали его старым, они думали: дедушка; а я помню его молодым, быстрым, шумным; помню смеющимся над праздничным столом с бокалом красного вина, среди молодых смеющихся друзей. Помню, как он приходил посидеть у моей кровати перед сном и рассказывал про то, как устроен мир. Про орбиты электрона. Про волны и частицы. Про скорость света. Про то, что быстрее света лететь нельзя: у тела есть масса, и масса эта растет вместе со скоростью, до бесконечности. Телу нельзя, а свету можно.

Мне было лет десять, и я спрашивала: но из чего сделан мир? Из чего он сделан? Как будто можно было ответить на этот вопрос. Отец говорил мне про гравитацию, про энергию, про теорию относительности, про искривление пространства, про силы и поля, но это все было не то. Из чего он сделан, этот мир?

Он терпеливо вздыхал.

— Ну хорошо, если я скажу, что он сделан из меди — это

как, годится? Из капустного сока? Тоже нет? Вот смотри: существует электромагнитное поле... Ты что, спишь?..

Я помню его веселым, конечно, смеющимся, но помню и гневным, несправедливым, мрачным; он боялся смерти, и мысль о ее неизбежности приводила его в дурное, раздраженное состояние духа, как если бы это была казнь и назначена была уже на завтра, и, конечно, никаких апелляций. Я уже была взрослой, я умела говорить, и я говорила ему, что смерти нет, что есть завеса, и за этой завесой – другой свет, сложный и прекрасный, а потом еще один, а потом еще; там дороги, там реки, там крылья, там шумящие на ветру деревья; там весна и белые цветы; я была там, я знаю, я обещаю. Он и спорил, и не верил, и хотел слушать еще и еще. Он говорил: к сожалению, я знаю, как устроен мир. Там нет места тому, про что ты говоришь. И я отвечала ему тем, что запомнила с детства: телу нельзя, а свету можно.

За месяц до смерти он решил поверить. Немного смущаясь – ведь глупости всё это – он сказал мне, что поскольку он, видимо, умрет раньше меня, то пришлет мне оттуда весть. Особый знак. Специальное слово. Расскажет, как там.

Никогда он меня не обманывал, никогда. Не обманул и на этот раз.

Во сне он приходит молодым, он приходит в драном драповом пальто, в заячьей ушанке, в одежде из будущих, еще не наступивших, предсмертных лет. По-видимому, ему все

равно. Под пальто – шарф в красную клетку, но может быть, и нет. Или голубая, моя любимая рубашка. У него худое треугольное лицо доходяги из военных лет, круглые очки. Кажется, подошвы его не касаются пола, он словно бы висит в воздухе, словно бы покачивается, но я не уверена: там темно и плохо видно. Он смотрит внимательно и дружелюбно, я знаю этот взгляд, я узнаю его в живущих людях, узнаю и в снящихся, на этот взгляд я отзовусь всегда, встану и пойду ему навстречу.

Он что-то хочет сказать, но не говорит, что-то объяснить, но не объясняет. Мне кажется, ему смешно. Может быть, оказалось, что мир и правда сделан из меди и капустного сока, сложен в чемодан с накладными уголками и пересыпан нафталиновыми шариками, и это ничему не мешает – ни алмазному свету миллиардов звезд, ни кривому пространству, ни неподвижному времени, ни плеску волн, ни дорогам, ни любви.

За проезд!

И она взлетела в воздух, чтобы полетать кругом, как обычно, и увидела летящего ифрита, который ее приветствовал, и спросила его: «Откуда ты летишь?»

*– «Оттуда», – ответил ифрит.
«Тысяча и одна ночь»*

Одичать: покинуть и Питер, и Москву – кому что выпало на долю, – купить еще крепкую избу в брошенной деревне близ Бологого, около Окуловки; копейки, сущие копейки, но печь разваливается, а печники умерли; кровля просела, а плотники запили; колодец пересох, а землекопы наточили лопаты и ушли в бандиты; а может, обойдется, а может, как-нибудь.

Войти в сыроватую, сильно пахнущую прежним хозяином избу: остатки заскорузлого зипуна на гвозде в сенцах, тряпки, одинокий резиновый сапог сорок большого размера, треснувший поперек. С внезапно обострившейся хозяйственной жадностью, с кулацкой сметкой, всплывшей из древних глубин сознания, осмотреть и ощупать брошенное добро: может, пригодится еще, а вот если нарезать на лоскуты, порубить на какие-нибудь ремни. Если затыкать что-нибудь там. – Не пригодится.

Привезти из города – Москвы ли, Питера ли – веселя-

щие вещи: свечи, водку, консервы в непременно томате, как далекий, полустертый привет от прежней жизни, пыльного юга, Джанкоя, Херсона; пуховую подушку. Электричества тут нет, оборвали – значит, ни телевизора, ничего такого, но ведь от них и бежим.

Осень, небо обметано крупными созвездиями, они лежат прямо на печной трубе, на дереве, раскинувшем ветви над дровяным сарайчиком. Кажется, это липа, но зачем нам, городским, это знать, не ложки же из нее будем резать? Не порубим же на поленья? Кто-то пролетел, заслоняя крылом звезды, кто-то хрустнул веткой в лесу, страшно, пойдем в дом.

Ждать зимы, чтобы уснули медведи; впрочем, волки не спят, наоборот, оскалась, ждут городских дураков, деревенские-то съедены. Вилы, дреколье, топор. А еще можно разбрасывать горящую паклю с саней... Но какие сани? Кто их потащит? Лошади стоят в Зоологическом музее, на втором этаже, смотрят карими стеклянными глазами, и моль ест их гривы.

Деревни в снегах: Дремуха, Бабошино, Кафтинский Городок. Есть ли там люди? Где-то там, верстах в пяти, должен быть сосед: всю жизнь торговал какой-то рухлядью, ходил по краю, бил и был бит, устал; тоже купил избу о трех горницах, мечтая пить чай под липой, а пчелы чтоб жужжали, а если люди заявятся, то у него есть ружье с патронами. Бар-Григино, Отдыхалово, Дорищи, Корытница, Наво-

лок, Малые Гусины.

Приходит зима, а мы обмазали печку глиной и уже не очень боимся угара, а мы припрятали зипун и сапог, и держим дрова в сенях, и нашли озеро, и пробили прорубь, и жарим картошку на дровяной плите, и едим ее прямо со сковородки. Мы не снимаем валенки, мы протоптали тропинки туда и сюда, вечером мы читаем при свечке, примотав отвалившуюся дужку очков синей изолентой, газеты бесконечной давности, журнал «Садовод» 1948 года. Яблоня «Китайка золотая ранняя». Вишня «Надежда Крупская». Актинидия «Клара Цеткин». Мы покрикиваем: «Береги тепло!», моемся редко, поливаем на руки из ковшика. Мы различаем шорохи: вот этомышь, это сова, это просто ветка хрустнула от мороза, а это далекий трубный клик проносящегося без остановок поезда. Одичали, вот славно. Еще немного, ну?

Иногда мы выходим из ночных снегов к железной дороге посмотреть, как несется на бешеной скорости смертельная лента огня: скоростной поезд либо туда, либо сюда – а потом снова туда. А потом снова сюда. Мы его ненавидим. Он набит людьми, как чурчхела орехами. Этим людям что-то надо, они куда-то стремятся, они чего-то хотят. Они перемещаются в пространстве. Это отвратительно. Ничего не надо хотеть. Из своей тьмы мы бросаем в поезд камнем и иногда попадаем. Потом нюхаем шпалы и уходим, на четвереньках, бесшумно. Мы хорошо ориентируемся в темноте. Мы знаем,

как пахнет север и как – восток.

* * *

Вздрогнешь и очнешься от вечерних сновидений наяву, когда в окно «Сапсана», почти прямо тебе в морду, влетает немаленький булыжник; закаленное стекло звездчато трескается, но держится; хорошая работа, знали, чего ждать, к чему готовиться. Жизнь напомнила, что между точкой А и точкой Б – снега, звери, древние звезды, печной дым, восемь сторон вечности, часы без стрелок. Если бы я была там, в сугробах, там, где красное недолгое солнце падает в елки и все исчезает, всякая красота тонет в ночи и тьме, – то у меня, наверно, тоже чесались бы руки швырнуть камень в быстрого сияющего червя. Может быть, в злобе, может быть, в раздражении... но нет, ведь и злоба, и раздражение – городские слова, городские понятия, рождающиеся там, где толкотня, очереди, тщеславие, нетерпение, соревнование, цель и конец пути. Нет, тут другое чувство, одновременно мутное и тонкое: а вот тебе! бдыщь! а не езд! Может быть, это охотничий инстинкт, зовущий броситься на мелькнувшее, на сверкнувшее, на убегающее. Собака, щелкнув зубами, ловит муху; зачем? – а нечего тут. Мальчик давит жука сандалией: тебе не жалко его? – ничуть.

По эту сторону треснувшей, но уцелевшей преграды, отделяющей день от ночи, – лоскут цивилизации, квартал го-

рода на колесах — которого? — Москвы, переливающейся в Питер, или Питера, перетекающего в Москву? Это богатый квартал, серебристый и сытый, тут есть вешалка для шуб, тут легко отдадут полтора ста рублей за бутерброд, шестьдесят целковых за стакан чая. Крестьянин не едет на «Сапсане», житель маленьких городков — Раменок или Колтушей — выбирает тусклые плацкарты лязгающих, долго ползущих составов, привозящие их в дымную срань раннеутренней платформы Петербург-Навалочная или, наоборот, Москва-Сортировочная.

Едут тихие чиновники, удивительные люди, владеющие искусством струиться и обтекать, но никогда ничего не говорить прямо: если скажет чиновник что-нибудь прямо, то игре конец, чиновнику кирдык, кощеева игла сломана и переходит к другому владельцу. Слова его зыбки и неопределенны, он не любит ни вопросов, ни фактов, ни жесткой логики, ни точности; ответы его лежат в особом, вероятностном пространстве: спроси, например, чиновника: когда? — ответом его будет: «своевременно или несколько позже».

Едут бизнесмены; крупного бизнеса тут нет, он улетел на самолете, а мелкий здесь, заказал коньяку и говорит в мобильник громко, чтобы все знали, какой он деловой, и строгий, и умный, и весь на подъеме: «я еще помозгую, а ты дождай вопрос». Впрочем, кто чуть покрупней, порой сидит в бизнес-классе, и тогда его так распирает, что в радиусе трех метров находиться невозможно: кто еще не знает, как он от-

дохнул в своем доме в Испании, как нырял на Филиппинах или катался на лыжах в Австрии, – узнает принудительно.

В шестой вагон – там всегда билетная касса – приходит из бизнес-класса возмущенная дама в белых кружевных сапогах пожаловаться, что и в бизнесе, и в экономе крутят одно и то же кино. Вот дура-то!

Вот дуры едут в первом классе,
Не думая о смертном часе.
Когда настанет смертный час,
На что вам будет первый класс?

Георгий Иванов

Кто попроще – спортсмен или офисный сиделец, – тот весело торчит в буфете все четыре часа, а потом записывает в «Книгу отзывов»: «Спасибо! Комфортно провели расстояние!»

Еду я. Если сидеть тихой мышью и слушать чужие разговоры, можно узнать много удивительного. Вот сын-садист, лет сорока. В Бологом он начинает названивать матери: «Я скоро буду. Поставь чайник. Я сказал: поставь чайник! Я буду усталым. Да, проехали Бологое. Ну и что? При чем тут остынет?.. Ничего не остынет! Я, кажется, ясно сказал: пойд и поставь чайник!!! Ты доведешь меня! Ты желаешь мне зла!» На том конце разговора, оправдываясь, трепыхается несчастная, затурканная мать, очевидно, уже немолодая, покорная, но все еще слабо подергивающаяся.

Проходит по коридору растерянный кудрявый жулик, карточный шулер, должно быть, новичок в этих краях, попавший в скоростной поезд по ошибке: «А вот в картишки. Кто компанию составит? А вот в картишки. В картишки». Менеджеры среднего звена, оторвавшись от ноутбуков, где они увлеченно рубили виртуальным мечом головы виртуальным чудовищам уже на шестнадцатом уровне, изумленно поднимают глаза: откуда ты, чудо лесное? Таких домотканых мозгов уже не носят, это тебе не южное направление.

Тут же, что-то припомнив, веселый лысый дядька рассказывает своей смешливой спутнице старый советский анекдот: «А вот едет автобус. Вваливается пьянчуга. Такой уже хорошо принявший, но еще с координацией... Садится, расстилает газетку, достает нарезанное сало, лучок, огурчик соленый – все смотрят на него с изумлением. Из-за пазухи вынимает чекушку, стакашок, откупоривает это дело, наливает... Тут кондукторша, которая, конечно, потеряла дар речи от такой наглости, все-таки приходит в себя и кричит: “Что это такое? Это... это что это такое?! Гражданин! А за проезд?!” И мужичок так поднимает стакан, знаете, приветственно, улыбается ей, и – “Ну! За проезд!”»

Нижний Перелесок. Кривое Колено. Мужилово. Малое Бабье. Большое Бабье.

Едут он и она, негромкими голосами терзая друг друга.

– Я тебя спрашиваю: кто тебе звонил? Кто он?

– Скотина. Ты залез в мой мобильник.

– Да, я залез в твой мобильник. Ты мне скажешь, кто он, иначе все кончено.

– Оставь меня в покое. С кем хочу, с тем и говорю.

– Мы должны развестись.

– Да ради бога. Брось меня.

– Я тебя последний раз спрашиваю: кто тебе звонил?

– Никто.

– Врешь.

– Вру.

– Я тебя убью.

– Давай убивай.

– Ты скажешь мне, кто тебе звонил?

– Оставь меня в покое. Я свободный человек.

– Ты не свободный человек, а моя жена.

– Ну так разведись.

– Не разведусь, пока ты не ответишь: кто он?

– Я тебе ничего не должна.

– Я тебя убью. Ты этого хочешь?

– Я хочу тишины и покоя.

– Тогда скажи, кто тебе звонил, и мы немедленно разведемся, и будет тебе покой.

– Я ничего тебе говорить не обязана.

– Ты дрянь. Ты гадина.

– Брось меня и найди другую.

Что-то не так в их разговоре, напряженном, медленном, мучительном. Что-то не то с интонацией. Я оборачиваюсь,

чтобы украдкой посмотреть на них: ну конечно. Молодые и прекрасные, они полулежат на неудобных сапсановских креслах обнявшись, переплетя руки, переплетя ноги, глаза в глаза. Боже, какая любовь! Запертые в волшебной капсуле, куда никому нет хода, они упиваются звуками голосов друг друга. Благословенны будьте!

Уезжа. Льзи. Влички. Добрая Вода.

* * *

Лица недавно разбуженных,
Наспех поевшие рты –
Жизнь на платформах завьюженных
Вынырнет из темноты.
Без ямщиков, колокольчиков,
Бьющих о землю копыт,
С грузом обманутых дольщиков
Русская тройка летит.
Судьбы твои закольцованы
Словно иные круги,
К дальнему взгляды прикованы,
Ближнему вечно враги.
То заметет, то распутица,
Эй, отзовись, кто живой!
Следом история пустится
В скорбный обход путевой.
Долго славянки прощание,

Но с нетерпением ты
Вдаль унесешь обещание
Вынырнуть из темноты.

Александра Толстая

Барская Вишерка, Пустая Вишерка. Нижние Гоголицы,
Верхние Гоголицы. Вялое Веретье.

Есть философия ночи, и Федор Иванович Тютчев – адепт ее.
Ночь он понимает как истинную основу бытия, настоящую
реальность. День – это лишь «блистательный златотканый
покров», накинутый на страшную бездну, на хаос, на пер-
возданное, ужасное, древнее, беспредельное, бесформенное
и безымянное, но родное:

О! страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди –
Под ними хаос шевелится!..

Тютчевский ветер воет «понятным сердцу языком», и ес-
ли он выть не перестанет, то хаос зашевелится, в человеке
проснется зверь и захочет уйти жить в занесенные снегом
леса, пробираться на четырех ногах через бурелом, бродить

вокруг брошенного человеческого жилья, разорять что-нибудь и перегрызть что-нибудь, мало ли. Пойдемте, Федор Иваныч, одичаем вместе, мне тоже хочется слиться с беспредельным, глухо жаловаться, завывать от непонятных чувств, бросать камнем в озаренные окна, за которыми угадываются дневные звери: вот их шубы, вот их разговоры, вот их рычание, ату их. Я знаю, что вы чувствовали, о чем думали, Федор Иваныч, когда в шатком вагоне, в купе, озаренном огарком свечи, слушали мучительный перестук колес, всматривались в темные окна, за которыми шевелилась бездонная русская мгла, которая, казалось, никогда не кончится, никогда не кончится, никогда не кончится – да она и не кончилась.

Родиться в Сортировочной, умереть на Навалочной, меж ними бездна, звезд полна, стозевна и лаяй; меж ними нечто живое и темное; ведь хаос – это тоже жизнь, это то, откуда она родится, то, куда она проваливается.

Глядки. Топорок. Стекланицы. Ужин. Яблонька. Березка. Рассвет. Тупики. Язвище. Кто такие, отзовись!

Воронья Гора, ау! Великий Куст! Отзовись, кто живой! Не дает ответа.

Жизнь не дает ответа, Федор Иваныч, разве что иногда врежет здоровенной такой каменюгой из тьмы в лоб вопрошающему; одинаковый булыжник прилетит и в эконом-класс, и в бизнес-класс, без предпочтений. Или – хотите? – давайте будем цивилизованными и возвышенными, да-

вайте считать, что это как метеорит. Небесный гость, этсера. Давайте думать, что это не хаос откликается на наш тоскующий зов, а его противоположность, космос: пространство организованное. Такое, где золотые небесные тела ходят по своим золотым орбитам, и слышна музыка сфер, словно невидимая рука перебирает струны арфы в деревне Язвище. Давайте?

Русский наш мир, Федор Иванович, выглядит так: большая тьма, в ней две светящиеся точки: Москва и Петербург. Сбоку где-то, конечно, Европа, но она почти уже не считается. Это в ваше время она была Европой, а сейчас черт-те что, и спасения нет. И дальше во все стороны тоже тьма, и она растет и пухнет. А русская жизнь – это путешествие из Петербурга в Москву, или из Москвы в Петербург, смотря с какой стороны смотреть. Два худо-бедно озаренных блюдечка, два пятнышка света, две платформы, где можно вынырнуть из темноты – отдышаться до следующего погружения.

«Садись же сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать? – Хоть бы в Арзерум поспеть нынче, – отвечал Ашик. – Закрой же глаза. – Он закрыл. – Теперь открой. Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума».

М. Лермонтов, «Ашик-Кериб»

На рубеже девяностых, когда старый златотканый покров был сдернут, а новый еще не соткался, плавание через Море Мрака было уделом самых отчаянных. Ночные поезда – сама идея безумного ночного путешествия через тьму – вошли в наши саги и эдды. Герой покидает освещенную платформу, на всякий случай прощаясь с семьей и друзьями. Герой везет с собой мешок злата – обычно в форме пачки долларов, ведь кредитных карточек еще нет в природе, да и злато, как и положено, имеет вполне криминальное происхождение. Герой опоясывается крепким поясом, в который это злато зашито, герой облачается в неприметные лохмотья, герой прячет сокровища в двойной подошве сапог и в этих сапогах спит, как беженец, как бездомный. Ветер задувает последний слабый фонарь на Навалочной, на последнем бастионе на краю бездны. Все. Теперь каждый сам за себя.

Проводник – кто он? Защитник или предатель? После полуночи, когда откричится последний петух и разверзнутся хляби, на перегоне между Любанью и Малой Вишерой откроет ли он мою дверь треугольным ключом, впустит ли убийцу? Как это будет? Дунет ли он на меня отравленным порошком через трубочку? Напустит ли усыпляющий газ? Отпилит ли мне ноги вместе с драгоценными сапогами? Вышвырнет ли мое бесчувственное тело в пустынные волчьи

поля, когда вагоны накрываются на единственном на всю дорогу и необъяснимом повороте? О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно?.. Сюйска. Глутно. Острые Клетки. И бездна нам обнажена с своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами – вот отчего нам ночь страшна!

Герой достает из портфеля волшебный прибор: блокиратор. Это особый замок из твердой красной пластмассы – коробочка размером с сигаретную пачку, с пружиной. Его набрасывают одновременно на ручку двери и на металлическую щеколду, тогда они становятся единым целым, и щеколду невозможно повернуть из коридора треугольным ключом. Вообще-то блокиратор должен быть в каждом купе, но если его украли предыдущие герои, то вы беспомощны и уязвимы и остается только молиться; так что наш герой возит блокиратор с собой.

Ночь идет долго, ведь в темноте нет времени. Герою нужно выйти в туалет или покурить, как быть? Открыть дверь в коридор, где, может быть, уже ждут его с ножами, топорами, дубинами и пистолетами проводник и впущенные проводником злодеи? Или злодеи – это его соседи по купе, заранее залегшие под дезинфицированные простыни и, затаясь, ждущие своего часа? Герой колеблется... но природа требует своего, и он снимает блокиратор и, страшась, шагает в тусклый коридор.

Теперь пугаются соседи по купе: кто был этот, вышедший? Посланник сил зла? Подсадная утка? Он подслушивал

и выведывал? Зачем он ушел вместе с блокиратором? Чтобы привести сюда убийц, верно?

От подушек тяжело веет дихлофосом: морили вшей. Душно и холодно одновременно. Шаги в коридоре. Тащат что-то громоздкое. Вагон содрогается и тормозит. Это конец, да?..

Нет. Пронесло. Это Бологое. Это белеют стены и блещут минареты Бологого.

* * *

От Окуловки в сторону километров десять; да кто их считал, эти километры? Идешь себе и идешь по колдобинам, по выбоинам, некошенная трава выше головы, одинокая сосна на пригорке, разливанные озера иван-чая. Полдень печет голову, остановишься – замучают слепни и мухи; что же они делали и кого мучали, пока мы не приехали? В обход озера, через полянки с летними маслятами, через ромашки – в деревню, заросшую так, что крыш с дороги не видно. Баба Валя, восьмидесятилетняя старуха, голая по пояс, в ватных штанах и резиновых сапогах, косит траву с молодой мужицкой силой. Мужчин голая баба Валя давно не стесняется, чего их стесняться: она тут всех их родила, пьянь такую. Всех и похоронила.

С ноющим скрипом едет по глубоким колеям автолавка. Она привезла липкие карамельки и китайские джинсы. Становится посреди дороги, выставляет и вывешивает товар;

никто не купит, но продавцу все равно.

Баба Лиза, прикрыв глаза от солнца, всматривается: кого это бог послал? А, городские. Скоро тут будут жить одни городские.

Инвалид Егорыч – последний мужик, но, несмотря на это, никакой ценности для баб не представляющий, заходит спросить про новости большой политики. Как там Китай? Китай очень неплохо, но мы не хотим расстраивать Егорыча и – с полагающимися дипломатическими экивоками – даем понять, что дни Китая, в сущности, сочтены.

Войти в прохладную избу, все еще пахнущую сеном и молоком, хотя все коровы давно съедены; поставить на окно пол-литровую банку с колокольчиками; на полку – «Анну Каренину», распахнуть маленькое оконце на вечернюю сторону. Остаться тут навсегда. Одичать. Стать темнотой. Или все же нет?

...Как бывало, забудешь, что дни идут,
Как бывало, простишь, кто горд и зол.
И смотришь – тучи вдали встают,
И слушаешь песни далеких сел...
Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросится в бой – зовет и манит...
Только скажет: «Прощай. Вернись ко мне» –
И опять за травой колокольчик звенит...

Александр Блок

Зажечь свечу. Нарезать, разложить, налить до краев.
Жизнь есть проезд из точки А в точку Б. Ну – за проезд!

Вроде флирта

Умер N.

У меня с ним было что-то вроде флирта, грозившего перейти, но так и не перешедшего в роман; он надеялся, я же зачем-то водила его за нос. Мне было девятнадцать лет, и мне казалось, что это, в общем, весело, хотя и немного опасно: еще прилипнет и не отлипнет.

Мне нужны были Большие Чувства, ну так это мне, а с чужими чувствами я – неа, не считалась.

Он догадывался, наверно, о моем коварстве и нечестной игре, но все же продолжал свои упорные, мягкие ухаживания и однажды позвал меня к себе на дачу; дача была далеко, в самом конце железнодорожной ветки, это под Ленинградом. Я заметалась: приглашение подразумевало романтическую связь; я не хотела ее. Но поклонниками бросаться глупо, да? мало ли, и я пообещала приехать, а там видно будет.

Был конец мая, тепло; я села на электричку и долго ехала, а потом долго шла к его маленькой деревянной даче. Всю дорогу меня глодали сомнения – зачем? хорошо ли это? не лучше ли вернуться? Словно бы некто мрачный и противно-моральный возник в пространстве и с укоризной глядел на меня: остановись, девушка; нехорошо; нехорошо. Не в первый раз в жизни я ощутила присутствие этого морализатора, этой помехи; он злил меня. А тебе какое дело? – отвечала я в ни-

куда; а мне интересно; что хочу, то и делаю; отзынь. Так говорили в дни моей питерской юности: отзынь.

В окне его дачи горел свет, я осторожно пробралась сквозь влажную вечернюю траву и глядела через окно. Был краткий миг тьмы посреди этой белой майской ночи. Он сидел за столом, – кухня? комната? Он читал книжку, прислоненную к чайнику, что-то ел, обкусывая с вилки с двух сторон, лицо было расслабленное, бессмысленное, как у всякого читающего. Я смотрела на этот красивый, в общем, профиль, на подбородок, на шею, на руки. Я не любила его. Сердце мое не билось учащенно, дыхания не перехватывало, слезы не подступали, глупые пафосные слова, о которых стыдно бывает вспоминать потом, не всплывали пузырями в мозгу. Заведомо неосуществимые планы грандиозного размаха не толпились в воображении.

N пил чай и ждал меня. Я постояла под окном в крапиве; моего присутствия за окном он не ощутил. Я тихо выбралась из зарослей и пошла назад, на станцию; оказалось, что последняя на сегодня электричка уже ушла, а следующая – в шесть утра. По платформе уже бродили опасные пьяницы, оставаться здесь было нельзя.

Я вернулась на дачу *N*, но в дом стучаться не стала. Я приметила в саду сарай; осторожно взобралась на чердак, где лежало неизвестно для каких нужд и когда собранное сено, жалкие его остатки. В углу была стопка газет за сороковые годы, должно быть, времен постройки дачи. Я легла на это

сено, расстелила газеты и замоталась во взятый с собой синий свитер. Ноги оставались голыми; их ели комары. Стало холодно, меня тряс озноб. Никогда раньше я не спала на чердаке в сарае; я была хорошая домашняя городская девочка. Родители, наверно, были на даче и думали, что я в городе, готовлюсь к сессии. Моя Большая Любовь тоже понятия не имела о моих приключениях. Ни один человек на свете, включая *N*, не знал, где я нахожусь. Я была нигде.

Это самое важное место на свете: нигде. Всякий должен там побывать. Там страшно, там пусто, там холодно, там нестерпимо печально, там оборваны все человеческие связи; и все твои грехи, все пороки, все лжи, все лукавства и двурушничества чередой выходят из летних ленинградских сумерек и смотрят тебе в лицо без осуждения, без сочувствия, а просто по факту, как есть. Вот мы. Вот ты. И это правильно. Так и должно быть. И с отвращением ты читаешь жизнь свою. И принимаешь решения.

В саду громко, со всех сторон свистали и шелкали соловьи. Я их раньше не слышала, я думала, что они поют как у Алябьева, как певцы: а, а, а, а, а! Но я их узнала. Время от времени я вставала и смотрела в щели чердака: *N* долго читал. Потом свет погас. Я ворочалась и мучилась до утра. В пять я встала, всклопоченная, с сеном в волосах, с чешущейся от сенной трухи шеей, с типографским отпечатком репортажей о процессах очередных вредителей на ляжках и икрах, мятая и немытая, с мутой в душе, и потащилась

на вокзал, на дребезжащую электричку, прочь.

Ничего потом не было, и объясняться я с ним не стала. А что говорить-то? И вот теперь жизнь прошла, и он умер. Я вспомнила про него сегодня, поздно вечером, на остановке троллейбуса, угол Садового кольца и Краснопролетарской. Там такой незастроенный, огороженный участок, и на нем дерево в белом цвету, в темноте не разберу какое. И посреди этой городской вони, и опасных подвыпивших мужиков, и ментов по соседству, и всей этой бессмыслицы и безнадёги зачем-то на дереве расселись соловьи и поют. Совсем с ума, наверно, посходили. Совсем.

Дым и тень

Четыре часа дня, декабрь, темнеет; я сижу в студенческом кафетерии американского кампуса.

Помещение огромное, потолок теряется в полутьме и сигаретном дыме где-то на уровне третьего этажа. Это середины девяностых, и у нас еще не отняли право курить в помещениях, но скоро отнимут. В коридорах, на факультетах, конечно, уже запретили. В профессорской столовой стерильно. А здесь, в дешевом студенческом кафетерии, пока можно. Так что все профессора, еще не охваченные движением за здоровый образ жизни, едят, курят и назначают консультации своим студентам тут.

«Жизнь есть дым и тень», как гласит надпись на воротах не хочу говорить где. Дым и тень.

Кормят, конечно, кошмарно. Тут популярны толстенные макарошки, называвшиеся на моей далекой заснеженной родине рожками; они залиты желтым соусом, это не яйцо, а страшно подумать что.

Тут подают бледное мясо индейки, взятое из каких-то далеких от ее сердцевины частей: поковыряв вилкой, найдешь трахею – трубочка такая; найдешь оконечности вроде коленей, кожу с волосами – надеюсь, это всего лишь гребень, который у индейки не на голове, а свисает с носа на шею, Господи, как Ты почему-то пожелал в пятый день творения, и я

не судья Тебе. Тут на полном серьезе едят кукурузное пюре из консервной банки. Пьют кофе – негорячую коричневую воду. Если налить в него соевый заменитель сливок, то и ничего, то и пить можно. Я уже привыкла.

За дальним столиком, в нескольких метрах от меня, сидит Эрик. Он американец. У меня с ним роман.

Ничего особо хорошего я об Эрике сказать не могу: он совсем не красавец, все его достоинства – зубы и рост; еще мне нравятся его очочки в невидимой оправе и пальцы, длинные, как у воображаемого пианиста. Но играть на рояле он не умеет, все, что он может извлечь из инструмента, – какой-то американский аналог собачьего вальса.

Умен ли он, я тоже сказать не могу. У меня недостаточно данных, чтобы судить об этом. Как узнаешь, умен ли иностранец, если он не знает ни слова по-русски, а из нашей литературы опознаёт только словосочетание «Дядя Ваня»? Но ведь и я ни бельмеса не понимаю в том, чем занимается Эрик: он антрополог; он специалист по народу *пунео*, национальному меньшинству Вьетнама, их там всего три тысячи человек. *Пунео* – часть большого народа *и*; ну как большого? – восемь миллионов, и те проживают в основном в Китае. На фоне китайского населения, конечно, – жалкая кучка. Народ *и* разговаривает на многих языках, в том числе на языках *носу*, *насу*, *нису* и *нусу*. А чтобы не скучно было. Но Эрик занимается не языками, а бытом этого крошечного далекого народа, да еще и меньшей его части; он ездил в те края

и привез оттуда национальные костюмы, головной убор, похожий на окно купе с задернутыми занавесками, деревянные миски и экзотическую крупу – гречку.

Он устроил небольшую вечеринку для избранных преподавателей нашей кафедры: еда встоячку, вино из пластмассовых стаканчиков, курить только в саду, в осеннем саду; прикройте за собой не только дверь с москитной сеткой, но и стеклянную: тянет дымом, фу, фу. Закуски, намазки: макайте стебли сельдерея в этот хумус, морковные палочки – в гуакамоле. Потом жена Эрика торжественно, но с притворной скромностью внесла блюдо с дымящейся гречкой; гости – кто посмелей – потянулись к каше с пластмассовыми вилками. Раздались крики мультикультурализма и притворного восторга. Я тоже попробовала: они забыли посолить кашу. Есть это было нельзя.

Пришлось объяснить про гречку кое-что, ускользнувшее от внимания Эрика и коллег; пришлось сбить накал экзотики до вульгарного бакалейного факта: редкая розовая крупа продается в любом американском супермаркете под названием *Wolff's Kasha*, да, дорого, да, безобразие; а также на Брайтоне и в других русских магазинах, – польский импорт. Ужасный вкус, ужасные сорта, непрожаренная, при варке вспухает в размазню, – но вот она тут, и во Вьетнам ехать не надо. Можно прокалить на сковородке, можно томить в горшке в печи – если бы у вас были горшки и печи, но их у вас нет; кашу маслом не испортишь; гречневая каша са-

ма себя хвалит; а если с грибами! а если с луком! Короче, дайте-ка я покажу! Я отняла у жены кашу и пережарила ее на скорую руку как надо. Жена возненавидела меня. А Эрик полюбил. Или что-то в этом роде. Трудно сказать. У меня при виде Эрика – сердцебиение. А что у него – не знаю.

Наш роман протекает сложно, и лучше бы его не было. На часах – декабрь; когда он закончится, я уеду и больше сюда не вернусь. Я уеду в Россию, я буду иногда приезжать в Нью-Йорк, прекрасный чугунный, клепаный, стрелчатый, ветреный муравейник, который никогда не спит; я буду навещать друзей в Сан-Франциско, где цветет вечная весна и лиловый негр вам подает мантию, и мне, может быть, тоже подаст, если я вовремя его себе куплю: такое кашемировое, с шалевым воротником и поясом; я возьму напрокат широченный джип, я куплю себе сапоги из фигурной кожи, с загнутыми носами, куплю женский вариант ковбойской шляпы, очкиконсервы, запасусь водой и вяленой говядиной и рвану, с сигаретой в зубах, через Калифорнию, Неваду и Аризону, через каменные пустыни, коричневые и розовые, синие и лиловые, с миражами, дрожащими над серебряными соляными безводными озерами. Куда? не знаю. Зачем? а низачем, а просто так: ничего нет на свете лучше пустыни. Чистый, сухой ветер в открытое окно, запах камня, запах пустоты, одиночества, свободы, – правильный запах.

Но сюда, в этот маленький пряничный резной городок, за-

несенный чистейшими снегами, я не вернусь никогда. Тогда зачем мне эта любовь? Говорю же: лучше бы ее не было. Или мне так кажется.

На языке *и* снег называется *во*.

Каждый день я повторяю себе, что Эрик плохо образован, недоразвит и вообще, кажется, не умен. А если умен, то мне этого ниоткуда не видно. И некрасив. Подумаешь, зубы. И мне не о чем с ним говорить. Ну не о народе же *пу-нео*? Но каждый раз, что мы встречаемся – в студенческом дымном кафетерии, или в шикарной маленькой бубличной (а там – продвинутый бублик для интеллектуалов, обсыпанный тремя сортами зерен, – *with everything*, – клюквенная коврижка, кофе редких сортов, бесплатный свежий журнал “*The New Yorker*” для беглого просматривания, – Париж-Париж), или почти случайно – на почте; или совсем невзначай – на безбрежной кампусной парковке, – каждый раз он мне что-нибудь втирает про своих пупейцев, и каждый раз, к своему ужасу, я слушаю это бормотание как пение архангелов. И с каждым днем я влипаю в эту любовь, как в клей.

На языке *и* гречка будет *нге*. Или так мне слышится. *Нге*.

Я – стойкий оловянный солдатик, мне всё нипочем, мне и любовь нипочем, но боже ты мой, когда я вижу этого дол-

говязого очкарика, когда я смотрю, как он выбирается из машины, словно карамора, когда я внезапно узнаю его, такого нелепого, в длинном пальто, возникающего в хлопьях метели, отворачивающего лицо от ветра, заслоняющего глаза от пурги, – все мои внутренние башни, бастионы и заграждения тают, рушатся, осыпаются как в плохом, медленном мультфильме. Скажи мне, Господи: почему именно этот? Мало ли их, нелепых и невнятных очкариков? Почему этот? Я не понимаю тебя, Господи. Открой мне свои планы!..

Когда у меня смутно на душе, я не хожу в студенческий кафетерий обедать ужасными индюшачьими трупиками; я еду в продвинутую бубличную, покупаю себе самую большую чашку настоящего кофе, коврижку с клюквой и сажусь к окну, прихватив местную газету. Вывернув ее и сложив вчетверо, я читаю раздел происшествий. Все как у людей: вот на шоссе столкнулись две легковые машины и фура, перевозившая сухой лед: четыре жертвы. Вот ограбили дом: хозяин отлучился ненадолго и не стал запираť деревянную дверь, понадеялся на стеклянную, – вот тебе и понадеялся, украли компьютер. Вот двое провалились на озере в полынь и не сумели выбраться. Вот опять на кампусе задержали бродягу Х. Альвареса, которому ведь запрещено бродить без цели по кампусу, а он уже шестой раз нарушает. Его отвели в полицейский участок и в очередной раз сделали внушение, да что толку-то. Альваресу нравится кампус, про-

сторный и красивый, с дорожками и деревьями, он и зимой красивый, и летом. И студентки там ходят красивые, так что Альварес глазеет на студенток, и они жалуются в ректорат.

- Что ты от меня хочешь, Эрик?
- Расскажи мне что-нибудь удивительное про ваш алфавит. Про русский алфавит.
- В русском алфавите есть буква Ъ. Твердый знак.
- Как она звучит?
- Никак.
- Совсем?
- Совсем.
- Тогда зачем она?
- Это такой вид молчания, Эрик. В нашем алфавите есть знаки молчания.

Я, конечно, могу доходчиво объяснить ему, какой смысл в букве «Ъ» – и сегодняшний смысл, и исторический, но зачем? Он не собирается учить русский язык, да и не надо ему это делать, не в коня корм, да и вообще уже декабрь и я скоро уеду, не вернусь больше. Я смотрю на синий вечерний городок, весь в огнях, весь в бусах и мишуре, – ведь скоро Рождество, а они тут сильно загодя начинают продажу подарков, блессток, свечей и мерцания. Прямо со Дня Благодарения и начинают. Это северный городок, севернее некуда, дальше там уже закругляется земля, дальше только тупые се-

ления с одичавшими поляками или совсем уже оторвавшимися от реальности канадскими украинцами, снега и скалы, и огромные, как стадионы, супермаркеты, торгующие одними консервами, потому что местное население свежей зелени исторически не ест; и снова скалы и снега.

Там – север, там – граница обитаемого мира, там царство тьмы, оттуда огромным куском приходит арктический воздух и стоит в темноте над нашими непокрытыми или, наоборот, укутанными головами, и звезды остро светят через ледяную линзу и колют глаза.

Американцы не носят шапок, ждут, когда уши отвалятся. Перчатки носят, шарфы носят, а шапки – нет. Им кажется, что это слабость – шапки носить. Разве что съездит какой-нибудь в Москву, купит на Манежной площади китайскую синтетическую ушанку с красной звездой – и вот уж он верит, что у всех русских при виде его теплеют сердца. Эрик не исключение: чтобы быть ближе к моему сердцу, моему не читаемому с помощью его культурных кодов сердцу, он пытался носить тибетейку. Квадратную, островерхую, расшитую бисером и розовыми пайетками. Похож был на Максима Горького, уже тяжело больного. Я запретила ее.

Я-то заматываю голову теплым платком во избежание менингита, арахноидита и воспаления тройничного нерва; я запрещаю Эрику называть этот платок «бабууушка» – с ударением на «у». Я уже отучила его говорить «боршт», я уже

объяснила ему, что в русском языке, в отличие от идиша, нет слов «блинцес» для блинов или «щав» для зеленых щей. Да и слова «бейгел» нет и быть не должно, а есть «бублик». Я знаю, что сею бесполезные знания. Я уеду, и он снова вернется к своим заблуждениям, к дурным лингвистическим и культурным привычкам. Будет класть в гречку кумин или бадьян, будет готовить салат, смешивая холодные макароны-бантики с красной икрой и заправляя его кунжутным маслом. Ведомый свободной фантазией, из мяса или грибов наворотит какую-нибудь жуткую, невообразимую ерунду.

Вот рис он, наверно, не испортит. Рис – уж это рис, базовая еда, простая вещь, и не надо ничего выдумывать. Хотя что-то пусть будет простым и ясным. И добавлять в него ничего не надо. Пусть, как был он тысячи лет белым и неизменным, таким будет и дальше.

– Эрик, а как пупейцы называют рис?

– *Цца.*

Городок, куда я никогда не вернусь, маленький, все друг у друга на виду. Даже если ты не знаешь людей, они знают тебя. Большинство – студенты, конечно же, они знают преподавателей в лицо. Мне и Эрику практически негде встретиться. Нам удастся повидаться в кофейнях только в те часы, когда его жена Эмма сама преподает. Иногда и поговорить нельзя: слишком много вокруг знакомых. А я знаю, как они чутки и зорки к чужим романам, я сама сплетничала с ними

вон про того или вон про тех. Эрик боится Эмму. Он садится в дальний угол и смотрит мимо, в стену или в чашку. Я отвечаю тем же. У меня сердцебиение. А у него – не знаю.

Эмма – красивая нервная женщина с длинными волосами и тревожными, оттянутыми к вискам глазами. Она преподает что-то художественное и сама умеет делать руками все, что можно себе вообразить: составляет сложные лоскутные покрывала-килты, синие, с сумасшедшими звездами нездешних небес; плетет бисерные шали, вяжет толстые белые шубы со вздутиями, как бы с метельными холмами, варит домашнее лимонное и ванильное мыло, и все такое прочее, вызывая острую зависть у женщин и страх и недоумение у мужчин. Она покупает по каким-то особым дизайнерским каталогам телячьи шкуры изумрудного цвета или цвета древесной коры и делает из них шкатулки с серебряными вставками, и я одну такую купила в местном магазине, не зная еще, что это сделала Эмма.

Она настоящая женщина, не мне чета, она богиня очага и покровительница ремесел, и еще она волонтерствует в студенческом театре, разрисовывая декорации для спектаклей, которые ставят ее ученики. Она догадывается, что, пока она их разрисовывает, Эрик не сидит в своем кабинете, а кружит по нашему городку, чтобы столкнуться со мной то в одном, то в другом месте – случайно, ненароком, непреднамеренно. Эмма – ведьма и желает мне зла. Ну, или мне так кажется.

Оттого, что говорить почти никогда нельзя, у меня

и у Эрика выработалось умение передавать друг другу мысли на расстоянии. Это не очень сложно, но, конечно, получается много ошибок, да и словарь небогат и сводится только к главному: «Потом». «Да». «Не сейчас». «И я». «Нет». «Я сяду в машину и поеду, следуй за мной».

Мы пытались встретиться в другом маленьком городке, в пятнадцати милях от нашего, мы присмотрели тихий отель на самом краю человеческого жилья, в сугробах, но в последний момент, почти на пороге, бежали оттуда в страхе: через освещенное окно и кружевную занавесочку на нем мы увидали двух профессоров нашего колледжа, двух замужних дам, — и кто бы мог заподозрить? — целовавшихся и обжимавшихся, вполне недвусмысленно, над чашкой кофе в уютном баре под гирляндой рождественских, преждевременно вывешенных огоньков.

Можно было бы, конечно, развязно ввалиться с мороза внутрь и разрешить всеобщую неловкость жовиальным хохотом: ах, и вы тоже? ха-ха-ха! — но Эрик пуглив и деликатен; я-то нет, но ему тут жить, а я уеду и не вернусь сюда больше никогда.

К себе я его провести не могла: я жила в кампусной гостинице для бездомной профессуры, дешевой, но роскошной и таинственной, вроде дома с привидениями: какая-то меценатка тридцатых отдала колледжу ставший ей почему-то ненужным дом. Вокруг здания лежали самые пухлые в мире

сугробы, в комнатах было так жарко натоплено, что все держали свои окна нараспашку в любую погоду, а кровати были такими узкими, что вы с них непременно сваливались, даже если спали там на спине и навтыжку, как солдат в строю, а никак иначе там спать не было никакой божеской возможности. Еще там были гаденькие низкие кресла с ножками как у таксы. А курить было запрещено, но, конечно же, все курили, свесившись из окна по пояс. Совсем неподходящее было место для тайных свиданий.

Теоретически можно было бы рискнуть встретиться прямо у Эрика в доме, в часы, когда Эмма ведет свои семинары или расписывает декорации, но я знала, что это плохо кончится, и не решалась: бывали в моей жизни перепуги до смерти или до хохота, когда приходилось срочно прятаться в стенном шкафу или под кроватью; Эмма тоже могла читать мысли на расстоянии, я догадывалась об этом по ее глазам; она настигла бы нас, она побежала бы, бросив студентов, по снегу, по вершинам деревьев, через синюю ночь.

Вообще у Эммы был третий глаз, я это ясно видела при боковом освещении: он пульсировал под тонкой кожей, и, когда она поворачивала свою тревожную голову, он улавливал, как радар, исходявшие от меня мысли. Раз в неделю Эрик и Эмма устраивали небольшие вечеринки для коллег, так у них было заведено, менять они этого не стали; приходила по умолчанию и я. Не прийти было бы все равно что разоблачить себя. На этих вечеринках Эмма читала мои мысли,

смотрела мне в лицо третьим глазом – еще подкожным, еще не вылупившимся – и ненавидела.

Чтобы она меня не сглазила, я купила в местной антикварной лавочке амулет; в нашем городке было много антикварных лавочек со всякой приятной дребеденью: от старых автомобильных номеров до пустых стеклянных флакончиков из-под духов. Жестяные лейки, фарфоровые котятки, блюда, тазы, комоды, умершие корсеты на женщин с маленькой грудью и непостижимо тонкой талией, слежавшиеся кружевные зонтики от солнца, давно закатившегося и отгоревшего. Потертая эмалевая бижутерия, старые журналы, фигурные формочки для льда.

Амулет мне сразу же бросился в глаза, он лежал среди серебряных коробочек и лорнетов. Это был маленький кукиш, настоящий оберег, непонятно, как он сюда попал и как его до сих пор не купили, мощнейшая вещь. Хозяин лавки как-то проморгал его смысл и ценность, так что даже и обошелся он мне не так чтобы дорого. В ювелирном магазине мне припаяли к кукишу петельку, и я купила к нему серебряную цепочку.

– А вы не хотите сделать на нем какую-нибудь гравировку? – спросила меня продавщица ювелирного. – На таких вещах иногда пишут имя. Или слово. Как заклятие, знаете.

Я посмотрела в окно, на снега и сугробы. Белые, бесконечные. Я уеду – они останутся. Растают, растекутся водой – и выпадут снегом снова.

– Хорошо, напишите *vo. Vo.*

– *Good choice!* – воскликнула продавщица, ничего не поняв. Хорошая, профессиональная реакция.

Я стала носить кукиш под одеждой. Не снимала и на ночь. Эмма металась, но ничего сделать не могла.

Странная вещь любовь, у нее тысяча лиц. Можно любить что угодно и кого угодно; однажды я любила браслет в витрине магазина, слишком дорогой, чтобы я могла его себе позволить: в конце концов, у меня была семья, дети, я тяжело работала, сжигая свой мозг, чтобы заработать на квартиру, на университетское образование для детей, мне нужно было отложить на болезни, на старость, на больницу для мамы, на внезапный несчастный случай. Мне нельзя было покупать браслет, я его и не купила, но я любила его, я думала о нем, засыпая; я тосковала о нем и плакала.

Потом прошло. Он разжал свои клещи, сжимавшие мне сердце, он смиростивился и отпустил. Какая разница, кто он был? Он мог быть человеком, зверем, вещью, облаком в небе, книгой, строчкой чужих стихов, южным ветром, рвущим степную траву, эпизодом из моего сна, улицей чужого города, заворачивающей за угол в медовом свете заходящего солнца, улыбкой прохожего, парусом на синей волне, весенним вечером, грушевым деревом, обрывком мелодии из чужого, случайного окна.

Я вот никогда не любила водопады, или туфли на каб-

луках, или женщину, или танец, или надписи, или часы, или монеты, но я знаю, что есть те, кто это любит и оглушен этой любовью, и я понимаю их. Может быть, я еще полюблю что-то из этого, – как знать, ведь это случается внезапно, без предупреждения, и накрывает тебя сразу и с головой.

Вот и Эрик был таким предметом моей неотвязной и необъяснимой любви. Надо было как-то избавиться от нее. Как-то преодолеть.

Я сижу в кофейне, которая Париж-Париж, за окном синий вечер, театральный снег. «Едем по 50-й дороге, следуй за мной, потом поворачивай на развилке», – передает мне мысленно Эрик. Вот я бросила журнал, украла пачку бумажных салфеток со столика, завернула остатки клюквенной коврижки в украденные салфетки, отставила чашку с блюдцем на мусорный столик, замоталась в платок, – да, я тут одна такая во всем вашем синем пряничном городе, мне тепло, у меня раскаленная кровь, у меня ладони и ступни как пяток, я прожигаю в снегу полыньи, а вы как хотите, – и вышла на нарядную улицу, под раскачивающиеся и мигающие гирлянды огней. Вот я поехала по 50-й дороге, и повернула на развилке, и встала на обочине. Мимо свистят, просвистывают автомобили, спеша домой. Или прочь от дома. Кто ж скажет.

Эрик притормозил свою машину, пересел ко мне.
– Я понял, нам надо поехать на *Lake George*.

– И что там?

– Там мотель. Там красиво. На выходные можно поехать.

Она уедет в Бостон к матери.

– А там что?

– Ну... у ее матери какая-то годовщина чего-то. Она не может пропустить.

– А ты почему не едешь?

– У меня срочная работа и приступ холецистита.

– Я бы не поверила.

– Так и она не поверит. Это предлог.

Я смотрю в его правдивые серые печальные глаза.

– В нашей культуре, – говорит он, – главное – правдоподобное объяснение. *Plausible explanation*.

– В вашей культуре!..

– Да.

– То есть у вас любое вранье сойдет. Даже вопиющее.

– Да. Главное – *plausible explanation*.

– Мы тоже, знаешь, врем будь здоров. Вряд ли вы тут мировые лидеры.

– Мы уважаем чужую личность, поэтому стараемся врать правдоподобно.

– Окей. Как хорошо, что я скоро отсюда уеду и никогда не вернусь.

– Ты не можешь уехать!

– Еще как могу.

– Давай я ее убью?

– Не надо, чем она виновата?

– Нет, я ее убью. Мне так будет проще.

– А мне нет.

Мы оба сидим надувшись. Потом Эрик спрашивает:

– А ты знала, что гречка в родстве с ревенем и щавелем?

– Не знала. Ошеломительное известие.

– Бывает гречка горькая и гречка сладкая.

– А еще польская, особый сорт: «несъедобная».

– Ты уедешь и разлюбишь меня.

– Да. Я уеду, разлюблю тебя и забуду.

Эрик обижается.

– Женщины так не должны говорить! Женщины говорят: я никогда, никогда не забуду тебя, никогда, никогда не разлюблю!

– Это женщины врут из уважения к человеческой личности. Конечно, забудут. Все забывается. В этом спасение.

– Как я хотел бы разбить твое сердце, – говорит Эрик мстительно.

– Разбиваются твердые предметы. А я – вода. Я утеку отсюда и проступлю в другом месте.

– Да! – говорит он с внезапным раздражением. – Женщины – вода! Поэтому они все время плачут!..

Мы долго молча сидим в машине, заметаемой сухой, мелкой, шуршащей метелью.

– Сыплется прямо как рис, – говорит Эрик. – Как *цца*.

Будто читает мои мысли. Очень трудно разлюбить Эрика.

Надо взять себя в руки, надо, чтобы сердце стало как лед.
Но ведь тогда-то оно и разобьется.

Декабрь переваливает через середину, до Рождества – неделя. Главная улица нашего городка – *Main Street*, а как же – полыхает золотыми, зелеными, розовыми витринами, сияет электрическими растяжками от столба до столба. Огней столько, что снег, метущий через улицу, кажется цветным. Цветной искристый *во*, похожий на *ица*. Из каждой двери, до тошноты, лезет, пританцовывает мелодия «Джингл беллз», сверлит мозг, превращает его в дуршлаг; хочется подбежать к двадцать восьмому по счету магазину, размахнуться бейсбольной битой – она тяжелая – и ччахх! ччахх! ччахх! – надавать по толстому зеркальному стеклу. Но приходится, конечно, сдерживаться.

Я выбираю для самой себя подарки: расшитую скатерть, ароматические свечи, наволочки в полоску. Ненужные вещи, но это же не причина, чтобы их не покупать. Волхвы в свое время тоже принесли странный набор: золото, ладан и смирну, и неизвестно, что они при этом имели в виду, на что намекали, и куда потом делись эти дары, хотя уже позже были придуманы различные красивые объяснения: золото – на царствие, смирна – на гроб, ладан – чтобы воскурять, верить и молиться. А еще есть легенда, что золото украли два вора, а через тридцать три года именно эти самые воры и были распяты ошую и одесную Спасителя, и Иисус по-

обещал уверовавшему в него, что тот нынче же будет в Раю. Раз уж мы, так сказать, знакомы с самых яслей. Вот, воистину, случай, когда человеку от Христа одна сплошная польза, от рождения Его и до смерти.

Еще мне нравится красивая сумка, мягкая, с серебряными вставками, но что-то меня в ней настораживает. А кто художник? А если Эмма? Продавщица не знает, а хозяйки магазина нет на месте. Внутреннее чувство – а может, амулет – подсказывает: не бери. Ничего не бери, и скатерть верни, и свечи положи на место. Тут все не твое, а Эммино. Все вообще. Спасибо, я передумала. Нет, и наволочки не нужны.

Эрик устраивает очередную вечеринку, последнюю, рождественскую. Он передал мне безмолвное приглашение – мы уже отточили технику передачи: «Приходи, сегодня я правильно приготовлю *нге*. Ты же хочешь *нге*?» Да Господь с тобой, Эрик, я хочу только одного: чтобы кто-нибудь стер тебя из моих глаз, из сердца, из памяти. Все забыть, освободиться, чтобы «без сновидения, без памяти, без слуха», чтобы только темное небо и метель, метель, метель, и ничего больше, как во второй день творения. Чтобы я могла очиститься от тебя и начать все сначала, мне же нужно сначала, я же никогда сюда не вернусь.

Огни сияют, музыка липнет, вытекая отовсюду. Через пару дней родится младенец Христос. Значит ли это, что сей-

час его нет с нами, как перед Пасхой? Значит ли это, что он оставил нас в самую темную, самую угрюмую, самую коммерческую, самую безнадежную неделю года? Значит ли это, что не к кому обратиться в сердце своем, некого спросить, как быть? Разбирайся сама? Тут неподалеку от городка есть русский монастырь. Конечно, монахи там – угрюмые буки, как и положено. Но, может, съездить к ним и посоветоваться? Вдруг среди них найдется человек со странным, зрячим сердцем? Спросить его: это что, грех, – убивать, затаптывать в себе любовь?

Но метель замела малые дороги, и до монастыря в такую погоду не добраться. Православной церкви в городке нет. К баптистам идти неохота – у них не храмы, а какие-то кружки самодеятельности при ЖЭКе, там приветствуется честность и ясноглазость, там к тебе выходит румяный дяденька в пиджаке и сияет навстречу: «Здравствуй, сестра! У Господа нашего Иисуса Христа есть великолепный план твоего спасения!..» А план будет заключаться в том, чтобы любить ближнего, то есть, например, с ходу сесть клеить коробочки вместе с юными недолеченными наркоманами из неполных семей... Ну и петь что-нибудь всем коллективом... И выслушивать сестру во Христе – тетку в вязаной кофте, в маниакальной стадии биполярного расстройства, с напором рассказывающую про то, как благодаря ее горячей вере в Спасителя у нее всегда удастся печенье на соде с шоколадными кусочками. Всегда.

А я вот не хочу любить ближнего. Я хочу его разлюбить.

У католиков в церкви куда лучше, таинственной, но сейчас не то время: слишком много там света, и радости, и праздника, и счастливого ожидания, а я не могу, я не хочу радости, мне бы посидеть где-нибудь одной в полутьме среди злых людей, чтобы оледенить сердце. Потому что жизнь есть дым и тень.

Я еду к шестипалым. Есть тут одна деревня, где почти все жители – шестипалые. Все они друг другу родственники, все из одной большой семьи. У кого-то из их прадедов случилось быть шестому пальцу, уродство передалось по наследству, и теперь они там всюду: на бензоколонке, и в банке, и в магазинах. В аптеке продавцами. В баре. В кафе. Злые и угрюмые.

Хорошо тут, правильно. Злобная официантка приносит кофе; она знает, что я смотрю на ее руку, и, наверно, превентивно плюнула мне в капучино: в капучино удобно плевать. Так, девушка! Понимаю тебя. У барной стойки злобный бармен протирает стаканы шестипалой рукой, а угрюмый парень, сидящий на высокой барной табуретке и что-то ему говорящий, мрачно курит, и странно, так странно смотреть, между какими пальцами зажата дымящаяся сигарета. А есть ли у этого лишнего пальца название? А вяжут ли здешние шестипалые бабушки специальные перчатки для своих шестипалых внучат?

Они бросают на меня плохие, неприязненные взгляды: они понимают, что я приехала нарочно поглазеть на них. Они привычно опознают любопытных гадин, здоровых, полноценных чужаков, которым от безделья, или от злорадства, или для поднятия собственного жизненного тонуса, для обострения чувств нужно постоять рядом с ними, с теми, для кого много – не значит хорошо.

В газированную воду тоже можно плюнуть с большим удовольствием. В какой-нибудь «Доктор Пеппер лайт» с вишневым привкусом и пониженным содержанием калорий. Я – вода. Плюньте в меня, некрасивые и несчастные люди: ведь я задумала убийство.

Ну-с, еще сутки до явления Младенца. Если не сейчас, то когда? Эрик прав, надо решиться и избавиться от нее. Она – ведьма, она сшила все одежды в этом городе, она прострочила все одеяла, чтобы я не могла укрыться под ними с Эриком, она связала все шарфы, все шерстяные платки, чтобы удушить меня, стачала все сапоги, чтобы стреножить мои ноги и не дать мне уйти, она испекла все бублики и коврижки, чтобы я поперхнулась их крошками. Она отравляет всю еду, это она настригает птичьи трахеи в белый соус, она варит хрящи и кожу, чтобы известить меня, превратить в индюшку с гребнем вместо носа. Это она собирает на болотах клюкву, пахнущую вороньими подмышками. Это она раскрашивает декорации, и когда раскрасит до конца – будет поздно.

Поэтому надо сейчас.

Я прихожу в дом к Эрику и Эмме: москитная дверь снята на зиму, деревянная распахнута, через стеклянную видно, как пламя гуляет в камине и гости, осточертевшие за все эти годы коллеги, стоят встоячку и вертят в пальцах бокалы с плохим вином. Эрик сварил *нге*, гордится, любит розовой горой, как будто это достижение, как будто в этом есть какой-то скрытый смысл.

А нет его.

Дрянь еда.

Опять он купил польский мусор.

Прелестно, негромко звучит Моцарт. У Эммы окончательно прорезался третий глаз: синий, с красными прожилками, без ресниц, с прозрачной мигательной перепонкой, как у птиц. Теперь-то уж что. Толку в нем теперь никакого.

«Эрик, Эрик, готовься. Вина не пей – ты поведешь машину. Поедем на *Lake George* и там утопим ее».

Передача мысли без слов – прекрасный, очень удобный инструмент общения, для светского разговора незаменим.

«Почему именно на *Lake George*?» – «Так я же другого не знаю. И ты сам хотел».

Гости расходятся рано: им еще готовиться к завтрашнему празднику, заворачивать подарки в золотую бумажку. Мы садимся в машину: Эрик с Эммой впереди, я сзади. Эмма смотрит двумя глазами вперед, в метель, а третьим – в мое

сердце, в мой кусок злого льда, но серебряный кукиш слепит ее, она не видит, что ей уготовано.

На озере уже совсем темно, но у Эрика есть фонарик. Мы идем по протоптанной рыбаками дорожке. Тут тоже есть любители подводного лова. Но сегодня они все дома, в тепле, у наряженных елок.

Прорубь затянута ледком.

– Что мы тут делаем? – интересуется Эмма.

– А вот что!..

Мы толкаем Эмму в прорубь; черная вода выплескивается и обливает мне ноги; Эмма сопротивляется, хватается за острые ледяные края, Эрик пихает ее, пропихивает под лед пешней; откуда тут пешня? – неважно. Бульк. Все. До весны не найдут.

– У меня руки ооченели, – жалуется Эрик.

– А у меня ноги. Надо выпить.

– Ты взяла?

– Да. И пирожки с мясом. Они еще теплые: в фольге были.

Прямо на льду мы пьем из фляги водку «Попов», жуткое пойло, по правде сказать. Мы едим пирожки с мясом; мы наконец целуемся как свободные люди – с облегчением, что нас никто не увидит, не остановит. Свобода – это высшая ценность, американцам ли этого не знать. Фляжку и объедки я бросаю в прорубь. Снимаю с шеи серебряный кукиш и бросаю туда же: он поработал и больше не нужен.

Мы бредем к берегу.

Лед трескается под ногой у Эрика, и он проваливается в занесенную снегом полынью до подмышек.

– А!.. Руку дай!

Я отступаю от края полыньи.

– Нет, Эрик, прощай!

– То есть как?! То есть как, то есть как, как прощай?..

– Да вот так. И не цепляйся, и не зови, и забудь, да ты и не вспомнишь, потому что тебя нет, ты придуманный; тебя нет и не было, я тебя не знаю, никогда с тобой не говорила и понятия не имею, как тебя зовут, долговязый незнакомец, сидящий за дальним столиком дешевого студенческого кафетерия, в нескольких метрах от меня, в полутьме и сигаретном дыму, в очочках с невидимой оправой, с сигаретой в длинных пальцах воображаемого пианиста.

Я докуриваю последнюю свою сигарету – вот так задумаешься и не заметишь, как пачка кончится; заматываюсь в теплый платок и выхожу, не оглядываясь, из тени и дыма в слепящую метель декабря.

Дальние земли

Письма с Крита другу в Москву

Зеленые облака и смрадный воздух родины, а особенно ее сердца – Москвы – остался позади, и вот мы, дрожа от радости и недосыпания, пьем ледяное белое вино, и глядим в морскую сверкающую пустыню, и никого ближе, чем Одиссей, не знаем и знать не хотим! Но вот Одиссей уже несет нам жареную рыбку и дзадзики, несет «хорта» (вареные горькие горные травы, если кто забыл), и рай снова тут, снова выдан нам на две недели, значит, возможно, мы не так уж и грешили в минувшем году.

В роли ключаря выступила на этот раз авиакомпания «Эгейские авиалинии», продавшая нам билеты за такую смехотворно низкую цену (13 000 рублей в оба конца с пересадкой), что мы и не ждали подвоха, а подвох-то был. Вечером накануне дня вылета пришло письмо по электронной почте – вылетаете не завтра днем, как вы надеялись, дорогой пассажир, а в шесть утра. И ждете свою пересадку двенадцать часов в афинском аэропорту, не зная, где преклонить испавшую голову. Пришлось посыпать эту голову пеплом, наскоро побросать все в чемоданы и, не прилегши, в три часа ночи выбежать в Домодедово.

Но где-то по дороге Господь нас простил, и в Афинах нам удалось перебронировать билеты на более ранний рейс

до Ираклиона, и даже чемоданы в пути не потерялись, и даже машину напрокат нам дали какую мы заказывали, хотя оттого, что мы свалились на их голову раньше обещанного, машина не была еще подготовлена к пути и на заднем сиденье зримым воплощением кризиса лежала паутина.

Кризис также был замечен и на привычных местах и прилавках. Обедневший ассортимент в супермаркете, радость, с которой бросился нам навстречу заждавшийся нас зеленщик — он практически расцеловал меня, умиляясь тому, что я снова здесь, и я ушла, сгибаясь под тяжестью неподъемных сумок с овощами и апельсинами, за которые заплатила три с половиной евро.

В *Horizon Beach* тоже запустение: пара мамаш с детьми лет десяти; может быть, правда, еще не сезон, но раньше трудно было захватить столик с видом на глицинию (она же жасмин, пальма и рододендрон; пусть Паша Лобков осудит меня, если протрезвеет), а сейчас сядь где хочешь и ешь свой завтрак, вернее, клюй то, что тебе дали. Дали мало: на всю гостиницу нарезали один огурец кружочками. Не шучу; так как я принесла свой, в видах диеты, то мне было с чем сравнить, и я не стала объедать скупого Ставроса и его немецкую жену (хозяева нашего отеля), а ела свой, обошедшийся мне, думаю, в целых семь, а то и восемь евроцентов. Яиц также не наварили, чего добру-то пропадать, но по просьбе — варят, мне вот целое яйцо принесли, а попросила бы — и два бы сварили, приезжайте сюда, тут хорошо.

Дюкановский рамадан поддерживаю ненавистной индейкой, малонатуральной, наверно, судя по виду – лепестки в каком-то консервирующем рассоле, – но хоть не свинина и не чесночная колбаса, с которой мы в свои тучные времена предавались бывалоча развратным пирам с буйными возлияниями, не правда ли. Греческой клубники в лавках не вижу, видимо, она вся на Бутырском рынке. Не будет же француз есть свои трюфели в лихую годину, а продаст богатому нефтяному шейху.

Заказали вчера блюдо, или, скорее, поднос жареной рыбы всех сортов. (Мы пошли в рыбную таверну.) Двадцать девять евро на двоих, всё только что из винноцветного моря. Были там две дорады – мать и дочь; был кусок рыбы-меч, были сардинки, пахнувшие своим будущим копченым состоянием, были две неизвестные рыбешки и пара креветищ. Все это сбрызнуто вкуснейшим домашним оливковым маслом, – прости, Дюкан, – лимоном и усыпано салатом. Оказалось, зеленый салат – это вкусно, если он срезан сегодня, а не как у нас. Это хрустит. А не вяло липнет, заворачиваясь вокруг зубов. Ко всему этому был и гарнир, но гарнир мы, как вы понимаете, есть не стали. Он был рис.

Темой вчерашних наших застольных медитаций было размышление о сравнительном поведении (и побуждении) человека русского и человека европейского. Вот классический мотив: человек выпивающий. И европейская литера-

тура, и кино, и собственные наблюдения свидетельствуют о таком образе: средних лет, душевно одинокий, с достоинством (компенсирующим порой сизый нос, сеточку на щеках, дрожащие руки и старый шарф) сидит он в баре, у стойки или за столиком, без спутников, смотрит в свой стакан, если поднимает глаза, то не пялится, не пристает, за жопу дам не хватает, разве что посмотрит зазывно и печально, как Пьеро. Пьет медленно, сидит до закрытия. Переживает – думаем мы о нем – свое одиночество, бессмысленность мира, невозможность душевной привязанности, минувшие, более или менее золотые, дни. Моя бедная старая мама, *ma pauvre vieille mère*, а также далекая девушка в белом цвету. Если у него есть пес – тоже старый как горы, – то он берет его с собой, и его пускают! Ага! С собакой в бар пускают! Потому что европейский барбос тоже не будет бросаться на людей и рвать им брюки, а с беззубым достоинством и полуослепшей мудростью будет лежать под столом, копируя тишину и печаль хозяина. Лучший рассказ на эту тему – хемингуэевский «Там, где чисто, светло», только без собаки, одиночество там тотальное.

Сестра моя справедливо заметила, что женская ипостась этого европейского одинокого человека – дама за сорок, часто злая, – сидит в дневное время в кондитерских: кофе, торт. В глазах – неизбывное горе: короткая ее женская жизнь прошла, счастья не было или оно улетело и обмануло, мазнув по губам, и впереди – долгая пустыня, и даже встреча

с верблюжьей колючкой не гарантирована. Мы видели такую в Баден-Бадене, в кондитерской, куда зашли съесть яблочный торт (со стыдливостью и дерзостью развратного подростка, не удержавшегося от визита в бордель); женщина сидела у окна над тарелочкой с руинами мильфёй и смотрела в никуда с такой интенсивностью, что выжигала кислород в секторе своего обзора; видели такую во Флоренции, она пила кофе за столиком на площади: то есть в самой гуще людей, солнца и цветов, в самом водовороте.

Баден-Баденская дама была безнадежно некрасива, и вот ее душа не могла переступить стену этой некрасивости, неурожайности, прокаженности, а раз она не могла ее переступить, то и к ней никто не смог бы пробиться, и попробовать бы не стал. Флорентийская же дама была немолода – за шестьдесят, но еще годна для путешествий в одиночку; варикоз еще не съел ее ноги, а нос еще не окончательно превратился в клубничину от ежевечерней привычки выпивать свой стакашок; от солнечного мира ее отделял ее возраст, который она зримо проклинала и ненавидела, а ненавидя возраст, ненавидела и солнечный мир.

Да, можно понаблюдать и поразмышлять, отчего одинокая женщина скорее зла, а одинокий мужчина скорее печален, впрочем, это и так понятно: ненужный мужчина – это покупатель без денег, ненужная женщина – продавец с пустыми полками. Так закольцовывается, казалось бы, тема европейского кризиса, но скоропалительные выводы делать

необязательно.

Меж тем – мне ли вам указывать? – русский человек, одиноко грустящий в баре, непредставим. Придя в заведение выпить, он сейчас же ищет глазами компанию, сию минуту привязывается к ней и немедленно вступает в быструю, короткую и опасную дружбу, отдавливая всем ноги и нарушая сразу все частные барьеры, о которых товарищи собутыльники может, даже и не подозревали.

Пьют ли мужики – он подсядет к мужикам, мгновенно, так сказать, залогинится, на ходу вводя общепринятые пароли: «как наши сыграли-то», «а пиндосы – козлы», и вот уже нашел земляков, единомышленников, уже завязал с ними неопределенные, чреватые катастрофой кредитно-финансовые отношения типа «плачу за всех», – и без очков видно кривую дорожку, которая приведет к тяжелым непоняткам и мордобитию.

Выпивают ли дамы – ринется к дамам, дальнейшее очевидно и разнообразно. Милицейские протоколы обычно фиксируют только конец и венец этих контактов: выпивали, познакомились, зашли домой (в сквер, в подвал) к одному из новых знакомцев продолжить; поспорили, забили друга или даму табуреткой (кухонным ножом, топором, *etc.*) Но намерения-то, намерения были самые прекрасные и широкодушевные.

На пляже нет спасения от русского одинокого человека:

он не прячется от тебя за дальним валуном, как это сделал бы европеец, а расстилает свое полотенчишко прямо встык к твоему и, услышав русскую речь, приступает к бестактным расспросам. Слава айподам: нынче все слушают свою музыку в наушниках, а припомните-ка, еще с десятков лет назад они носили с собой транзисторы и кобзонизировали всю окрестность.

О русских женщинах что и говорить! Пропуская общеизвестное, замечу только, что совместные посиделки на лавочке у подъезда в Европе – в настоящей Европе, в западной – непредставимы. Как оно там в восточной – не наблюдала, не знаю, а в Греции по деревням сидят у своих распахнутых дверей (красная сатиновая занавесочка задернута) на плетеных стульях одинокие черные старухи и молчат. Только раз в волшебной деревне Маргаритес я видела группу таких черных старух, они тихо переговаривались, но при приближении чужака замолкли. Мужчины же тут всегда и непременно водятся стайками, пьют кофе на улице, перебирают четки и обсуждают баб, футбол, дороговизну и политику. Вернее, в первую очередь политику, а потом все остальное. И с живейшим интересом рассматривают всех проходящих и проезжающих, а посему особо популярны посиделки у автобусных остановок: народ и входит, и выходит; это ж какая свежесть впечатлений.

А сегодня вышла завтракать немецкая семья: папа-мама

и два мальчика лет восьми – десяти. Все четверо ели и пили в абсолютном безмолвии – мне даже захотелось протянуть руку и прибавить звук. На их лицах – я всмотрелась – было ровное, равнодушное доброжелательство, и а двадцать минут жевания ничего не произошло – ни замечания, ни улыбки, ни шутки. В какой-то момент один мальчик протянул руку и как бы слегка ущипнул другого, но я напрасно обрадовалась: тот никак не прореагировал. Не заметила я и других, невербальных способов коммуникации. Потом они так же молча синхронно встали и ушли.

И я подумала: вот пройдет лет сорок-пятьдесят, родители уже умрут, а эти мальчики состарятся, все хорошее будет позади, и они пойдут одиноко сидеть каждый в своем баре над своим грустным стаканом среди таких же достойных одиноких стариков и каждый, уважая великий европейский принцип невмешательства в чужую частную жизнь, так и промолчит до гроба. А ведь можно было бы скандалить с соседями, стучать палкой по батарее центрального отопления, писать письма в инстанции, отравлять жизнь молодым, навязываться с воспоминаниями о боях под Кенигсбергом и вообще куролесить вволюшку!

Нет, если бы кто-то почему-либо принуждал меня выбирать: ты с ними или с нами? – то я, протестуя, сопротивляясь и кочевряжась, все же, наверно, выбрала бы наш, хамский, теплый, болтливый и невыносимый способ прожить эту жизнь, только бы не слышать эту вежливую, глухую,

ужасную тишину.

* * *

Купила местную (греческую) русскоязычную газету. Объявления:

ТРЕБУЕТСЯ: Человек в похоронное агентство в ночные часы.

РАЗНОЕ:

– Подарю игуану вместе с аквариумом и лампой подогрева.

– Поделюсь чайным грибом.

ПРОДАЕТСЯ:

– Свадебное платье, расшитое стразами. К платью прилагаются фата, перчатки, корона.

– 3-комн. квартира в Афинах, в р-не Каллифеа, 2 балкона, 75 кв. м, цена 75 000 евро.

– Квартира на Украине, Симферопольский р-н, село Николаевка, цена 60 000 евро.

КУПЛЮ:

– Куклу-неваляшку или Ваньку-встаньку.

– Приобрету песцовый или барсучий жир.

ЗНАКОМСТВА:

– Жениха, полненького, высокого роста, до 75 лет. Я веселая и беззаботная хохотушка.

– Врач, 41 год, симпатичный, художавый, женатый. По-
знакомлюсь с молодой, красивой, не склонной к полноте де-
вушкой без комплексов и упреков, для приятных встреч 2–4
раза в месяц. Предлагаю оплачивать аренду квартиры. Зво-
нить только в понедельник и пятницу с утра, а во вторник
и четверг – вечером.

ТРЕБУЕТСЯ:

– В русскоговорящую семью помощница по дому, до 40
лет, трудолюбивая, с чистым сердцем.

РАЗНОЕ:

– Прошу позвонить тех женщин, кто обращался в ком-
панию по похудению, был обманут и потерял деньги.

– В отдаленном от людей маленьком монастыре, на Горе
Искушения (Израиль), живет одинокий монах. В служении
Богу, в уединении от людей проходят его дни. Средств к су-
ществуванию у него практически нет. Но своим подвигом он
вымалывает у Бога наши с вами грехи. Если есть желание
помочь, не поскупитесь. В своих молитвах отец Герасимос
Выразанидис помянет ваши имена. Тел. ***, факс ***, счет
в Ethniki trapeza ***, P.O. box ***, Jerusalem, Israel. Archim.
Gerasimos Vourazanidis.

* * *

Много, много, много лет назад – прямо скажем, двадцать
пять лет назад – я первый раз приехала на Крит и жила

на краю города Ретимно. Тогда город Ретимно был маленьким и кончался там, где старый университет. А дальше шли буераки и неудобья и тарахтел экскаватор, копавший землю под будущие здания – сейчас они тянутся километров на пятнадцать от этого места.

В общем, все еще было свежее, молодое и нетронутое. И дороги на Крите были непроезжие, а некоторые вообще пылевые, так что приятно было снять сандалии и брести по этой остывающей вечерней пыли, как по муке. Теперь-то всюду асфальт, и всюду удобно доехать, но не только мне, вот в чем беда-то. И ужасные, удобные шоссе проложены напролом через чудные, таинственные горы, полные деревьев и птиц; нет там теперь ни деревьев, ни птиц, а только отвалы рыжего камня и свист ветра.

Вот приехала я туда впервые и сидела в ресторанчике в гавани, на самом берегу, и вертела головой. Там все рестораны дрянь, туристское обдиралово, и рыба мороженная, и цены задраны, но есть один настоящий, прямо под носом, но неприметный, – там все как надо, домашнее, а опознать его можно по тому, что там едят сами греки. Скатерти в синюю клетку, солнце светит, и можно крошить хлеб рыбам прямо в мутную воду со стола.

А метрах в трех от меня, в невкусном ресторане, сидела женщина, шведка, лет тридцати пяти, – волосы морковного цвета дыбом, футболка прямо на голое тело без лифчика, как у скандинавских женщин принято, в окружении трех ви-

кингов завидного роста и богатырской красоты, таких крас-
нолицых, с золотыми шевелюрами, с пронзительно-голубы-
ми глазами. Все они были пьяные в жопу, очень веселые,
а она пьянее и веселее всех, и громко хохотала, разевая рот.
Нельзя было ее не заметить.

И вот прошло четверть века, и прежний Крит, манивший
своей нетронутостью, своей удаленностью, пасторальностью
и патриархальностью, поблек и зарос бетонными пансионата-
ми и гостиницами, а его отдаленные окраины, где с горы
открывались сумасшедшие виды на синие сверкающие во-
ды и пустынные побережья, застроили теплицами и затяну-
ли отвратительной белой пленкой, чтобы, значит, помидор-
чики под ней выращивать для нас, приехавших жить в этих
бетонных пансионатах и гостиницах, раскрашенных в весе-
ленькие цвета.

И уже больше не хочется сесть за руль и ехать вдаль,
вдаль, вдаль, потому что там, вдали, тоже асфальт, пленка
и удобства. И то счастье, которое я испытывала от этих ди-
ких просторов, ушло, и не вернуть его.

И вот прошло двадцать пять лет, и я снова сижу в малень-
кой гавани Ретимно, в домашнем ресторане за столом с си-
ней клетчатой скатертью, и постаревшая хозяйка несет заказ
и вино, и я, как всегда, думаю: как же пить, когда я за ру-
лем?.. Ну а как же не пить?.. И за соседним столом раздается
громкий, пьяный, на всю распахнутую пасть гогот. И я обо-
рачиваюсь – боже!..

Поредевшие волосы морковного цвета дыбом, морда облуплена, футболка напялена прямо на голое морщинистое тело без лифчика, нога в гипсе торчит пистолетом, да и рука тоже обмотана каким-то бинтом; та же шведка, в инвалидной коляске! В окружении трех ссутулившихся викингов с лицами свекольного цвета, с развевающимися остатками светлых волосенок, с глазами, выцветшими до белизны!

Все пьяные в жопу, все заливисто хохочут – одного раздирает кашель курильщика, он машет рукой: ну вас! – но они от этого только громче и веселей заходятся в счастливом пьяном смехе, а она, морковная красавишна, пьянее и веселее их всех.

И от уважения к этим непобедимым людям я чуть не заплакала.

* * *

Тут у них кровная месть, как на Сардинии какой. Съездишь в 2000 году в какую-нибудь горную деревню. А спустя десяток лет в британском бедекере 2006 года читаешь: там все полегли, все друг друга перестреляли. Под конец перестрелки приехала полиция, окружила дом, где сидел стрелок. Кричат ему в мегафоны: все, Манолис, сдавайся! А он им в ответ: не лезьте в мое дело, сейчас последнего кровника застрелю – сам выйду. Как не уважить, они же все там свои.

Мы одну такую семью знаем. Еще лет пятнадцать назад ходили в таверну к Йоргосу, необыкновенной внешности парню лет тридцати. Кто видел статуи архаических куросов – Йоргос был чистый курос: высокий, тяжелобедрый, с непонятной монализинной усмешкой, которая совсем не усмешка, а природная складка рта, – Йоргосу смешно не было. Глаза тоже были какие-то архаичные, микенские: обтекали лицо, как очки ДжиМартини, стремясь куда-то за уши, цветом же были бледно-виноградные, подходящие для пустого взгляда вдаль.

Он был сыном хозяина таверны, и, как тут принято, они всей семьей, в восемь или десять рук, трудились весь сезон, от зари до полуночи: покупали, привозили, чистили, резали, подавали, уносили. А готовила одна бессмертная бабушка – ну, еще в сорокаградусной духоте кухни возилась парочка каких-то мелких чернявых помощниц, но шефом там была бабушка, похожая на крючок и вся в черном. Она и сейчас там орудует, как и 15 лет назад.

Вот Йоргос несет на своей прекрасной загорелой руке шесть овальных блюд с рыбами и гадами и картошкой горкой, другой прекрасной загорелой рукой ставит вино и шесть стаканов, – солнце садится, все залито вечерним золотом, немцы заказали свои швайнекотлетт и пиво «Мифос»; благодать. Бледными своими глазами Йоргос смотрит поверх немецких и наших голов, всегда поверх голов; водит взглядом по горам, по крышам домов, по балконам и деревьям.

– Присядь, Йоргос, выпей с нами, – говорим мы; мы ведь его давно знаем. Или думаем, что знаем.

Йоргос садится.

– Мир лежит во зле, – говорит он.

– Ну, в целом верно, – говорим мы беспечно. – Но сегодня погодка какая приятная.

Тут его прорывает. Он – первый на очереди, и однажды прилетит пуля. Или не прилетит. Могут ножом. Они из горной деревни, отсюда километров тридцать по хорошей зеленой дороге. (Мы там были, проезжали, ничего зловещего. Мини-маркет, стеклянные лари с мороженым. Бензозаправка.) Там в девятнадцатом веке кто-то у кого-то украл овцу. Обиженный оскорбился. Овцу?! У меня?! В ответ украл две. Тут не снес обиды первый обидчик. Вскоре чей-то троюродный дядя был убит. В ответ пришлось убить очередника из того клана, шестнадцатилетнего парня: он зазевался. Так и пошло. Семья Йоргоса бежала из деревни на побережье, тут чуть безопаснее, потому что никто не будет стрелять в толпе туристов, это не по-мужски, совершенно исключено, что вы. Ведь в этом деле главное – честь. Вот когда народ разойдется, тогда может быть.

Йоргос хотел учиться на архитектора, поступил в какой-то университет в Европе. Но к началу летнего сезона отец выдернул его из университета: надо работать, туристы прут стадами. Осенью доучишься. Папа сказал, сын послушался: с конца апреля до конца октября Йоргос носит на своих пре-

красных загорелых руках корм для туристов. В горах мое сердце, а сам я внизу. У них хорошая таверна, лучшая. Так каждый год. Денег стало много.

К ноябрю, говорит, видения архитектурных проектов меркнут; глаза закроешь – видишь только швайнекотлетт. Неохота и стараться. В ноябре уезжает в Швейцарию, в Германию сорить деньгами, кататься на лыжах, играть в казино. Убить могут, конечно, и там, и неизвестно, кто будет мстителем.

Брат тоже кровник. Сестра замужем в соседней деревне, ее убивать не будут, это западло. Убивая женщину, ты роняешь себя, теряешь высокое место в социальной иерархии. Старика тоже некрасиво. Предпочтительнее всего – убить убийцу, но если не получится, то лучше всего убить молодого парня, пока он не нарожал будущих мстителей.

Вот Йоргос и его брат и посматривают вдаль, водят своими микенскими светлыми глазами по горным вершинам.

– Мы никогда не говорим правды: куда пошли, когда поехали. Если нам надо ехать в понедельник в полдень, мы всегда скажем, что едем в среду в три часа. Мы не знаем, чьи уши нас слушают. Не знаем, кто придет. Не знаем, сколько проживем. Мир лежит во зле.

Все критяне – лжецы. Не оттого ли? Встал, ушел: работы полно. Чаевые ему оставлять нельзя: он хозяин, а не официант какой-нибудь. Немцы не знают, оставляют. Но немец разве человек?

Кровную месть изучают во всех аспектах, и как особый древний социальный институт, поддерживающий клановое деление общества, и как посттравматическую реакцию – тут простор для всякого там фрейдизма. Какая-то концепция «отложенного действия»; кто хочет, пусть вникает. Понятно, что где есть «честь» – там и «оскорбление», где оскорбление – там и месть, и кровь, и восстановление этой чести. Не обязательно в основе конфликта овца, это и женщина, и плохое слово в адрес женщины (да и мужчины), и неуважительный взгляд. «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Гнев, θυμός, – это вообще очень греческая черта. Он словно бы хранится где-то в глубине, не прокисая и не выветриваясь.

Вот убили мужика. Осталась жена с младенцем. Жена прячет в сундук окровавленную одежду мужа; ребенок растет и все спрашивает: где мой отец? Вырастешь – узнаешь. Наконец он вырастает, тогда мать выдает ему заскорузлую от крови одежду. Он надевает ее и идет мстить.

Или в 1987 году один пастух убил случайно встреченного больничного санитаря. Он разговорился с ним, и санитар зачем-то сказал ему, что когда-то давно его дальний родственник убил человека с такой-то фамилией. Пастух понял, что речь о его убитом дяде. Фамилия санитаря была такая же, как у того давнего убийцы. Значит, родственник, значит, кровник. «Внезапно кровь бросилась мне в голову, мозг затуманился, и единственной моей мыслью было убить его».

А дядю-то вообще убили за 22 года до рождения этого племянника.

В этот раз съездила, посмотрела на Йоргоса. Пока жив. Морда оплыла, глаза, привычно блуждающие по балконам и крышам, совсем выцвели. Посмотрел равнодушно.

– Йоргос, – говорю, – ты меня не узнал?

– Почему, узнал.

Поставил передо мной заказанное и отошел. Неопасная, я была ему совершенно неинтересна.

* * *

В Греции в деревнях всегда: белая стена, голубая дверь, и на шаткой табуреточке сидит черная старуха и, не улыбаясь, смотрит то ли на вас, то ли в непонятную глубину прожитой жизни. На ней черное платье, или юбка с кофтой – не понять; голова обмотана черным платком, сухие козьи ноги в черных чулках широко расставлены для опоры. Руки тоже опираются: на палку или посох.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.